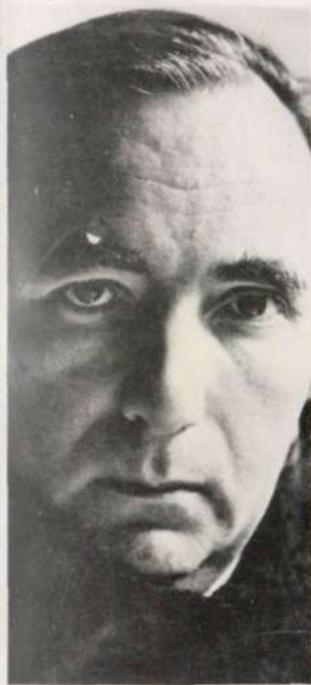


ВРЕМЯ ИДМБ 60 1981



Лев Наврозов
Смерть — это мы сами



**В ЭТОМ НОМЕРЕ: ЛЕВ НАВРОЗОВ ПРОТИВ
"НЬЮ-ИОРК ТАЙМС" ● Я ВОСКРЕСЕНИЕ И
ЖИЗНЬ ● ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА МИЛАНА
КУНДЕРЫ ● ПОЭЗИЯ СЕМЕНА ГЛУЗМАНА
● ФИГУРА ЗА КОВРОМ ● СССР И ИЗРАИЛЬ
● ИЗ ЗАПИСОК НЕОКОЛОНИЗАТОРА**

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Седьмой год издания

Выходит один раз
в два месяца

**60
1981**

МАЙ - ИЮНЬ

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1981

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	КАРЛ ПРОФФЕР
ЕГОШУАА ГИЛЬБОА	АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
МИХАИЛ КАЛИК	ДОРА ШТУРМАН /зам.гл. редактора/
ЛЕВ ЛАРСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES
FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штротмас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,
Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Канада Юрий Лурьи
305 Ronsen Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3T 2N2
t. (204) 474 9773

Западный Juscwa Miachijew
Берлин Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Борис ХАЗАНОВ
Я Воскресение и Жизнь 5
Милан КУНДЕРА
Пропавшие письма 102

ПОЭЗИЯ

Семен ГЛУЗМАН
Псалмы и скорби /Вступительные статьи В. Некрасова
и Е. Эткинда/. 138

ПУБЛИЦИСТИКА. ПОЛИТИКА. КРИТИКА

Лев НАВРОЗОВ
Смерть — это мы сами. 150
АМРАМ
Советский Союз и Израиль. 182
Наталья ГРОСС
Фигура за ковром. 194

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Томас ШУМАН
Записки неокolonизатора. 202

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Вкус березового сока. 246
Коротко об авторах. 251

...Ему пришла в голову одна из тех, казалось бы, отвлеченных и несуразных мыслей, которые часто вдруг стали для него жизненно важными: он подумал, что порядок, которого жаждет в этой жизни обремененный, тянущийся к ясности человек, — не что иное, как порядок повествовательного искусства!.. Счастлив тот, кто может сказать "когда", "прежде чем" и "после"! Пусть даже с ним случится недоброе, пусть даже довелось ему корчиться в муках, — как только ему удалось воссоздать события в их временной последовательности, он начинает чувствовать себя вольготно, словно солнце согревает ему живот... Большинство людей — рассказчики по отношению к самим себе... они любят естественную последовательность событий, потому что она похожа на необходимость, и чувствуют себя защищенными от хаоса, если кажется, что их жизнь подчиняется определенному течению.

Р. Музиль. Человек без свойств.
Есть три эпохи у воспоминаний,
И первая — как бы вчерашний день.

А. Ахматова. Северные элегии.

Борис ХАЗАНОВ

Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

УРОК МУЗЫКИ

"А кто там лежит?"
"Тихо. Говори шепотом".
"Я ШЕПОТОМ. КТО ЭТО ЛЕЖИТ?"
"Ученики".
"ТАКИЕ СТАРЫЕ?"
"Да".
"Они уже научились?"
"Да".
"Чему?"
"Помолчи минутку".
"Я спрашиваю: чему они научились?"
"Хорошо себя вести, вот чему".
"Ха! Я и так".
"Да тише ты!"
"Я ГОВОРЮ, Я И ТАК ХОРОШО!"
"Ну ладно, только помолчи".
"...ОНИ СПЯТ?"
"Ты же видишь".

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

"А ЧТО ТАМ НАПИСАНО?"

"Не знаю, это по-славянски".

"А я знаю. Моление о чаше".

"Знаешь, так и нечего спрашивать".

"Бьюсь об заклад, — говорит мальчик. — Сильва, ты меня не любишь. Легавый буду, я тебя узнал".

"Да ты что? Да я тебя!" — Они уходят, провожаемые шиканьем.

На цыпочках, громадными шагами, голосом театрального заговорщика:

"ЭТО БЫЛ..."

"Можешь говорить обыкновенно!"

"Это был лес?"

"Не лес, а сад".

"А почему звезды?"

"Я почем знаю".

"Нет, правда".

"Потому что ночь, — чего глупости задавать".

"И все спали?"

"Да. А он молился".

"О чем?"

"Молился, чтобы его миновала эта чаша. Ему было страшно".

"Боялся темноты?"

"Иди хорошо".

"Я итак иду хорошо. Я не намерен терпеть твои придирки имей это в виду. — Ма, скоро церковь закроют, да?"

"Кто это тебе сказал?"

"Ведь это все обман".

"Коли обман, так и нечего спрашивать".

Ах ты. Хоссподи, твоя воля! Он ступил в лужу. Притягиваемый к вещам, как булавка к магниту, он зацепился карманом пальто, вечно оттопыренным, за ухват водосточной трубы. На глазах у ошеломленных прохожих он превратился в многолалое и многокрылое чудовище с тремя головами, из которых высовываются три языка. Батюшки, что творится.

"Все расскажу отцу".

"Ха. А я расскажу, где мы были, — что, съела?"

Пауза. Силы приблизительно равны. Мальчик то еле тянется, заглядываясь на каждую вывеску, то несется вскачь "африканским" шагом, и она едва за ним поспевает. Это — апрель или, может быть, ноябрь, стекла окон отсвечивают, словно слюда, мостовая серебрится от сырости, и конец дня как бы совместился с его началом.

Величие отца невозможно было выразить словами, но оно проявлялось во всем: во взгляде из-под широкой кепки, важно надвинутой на глаза, в привычке давать длинные медленные звонки. С какой радостью, о, с каким прыгающим сердцем мальчик мчался по коридору, когда раздавались эти три звонка — как голос с неба, как рог герольда у ворот, и он знал, что отец ждет его там, высокий, верный, могучий, и нарочно гремел ботинками на бегу. Отец входил, сгибаясь под тяжестью рук, уцепившихся за его шею, ноги мальчика в чулках с выглядывающими из-под штанишек резинками болтались в воздухе, потом он бежал приплясывающим "африканским" шагом возле ног своего бога.

В комнате зажигался яркий свет, отец приносил с собой особенный воздух, запах дождя, шаги, звуки голоса, зеленые глаза; движением плеч сбрасывал пиджак, царственным жестом оттягивал угол галстука, и мальчик ходил с ним, как поводырь, из большой комнаты в прихожую, где была раковина, и назад, к столу. Полина, тихая, как монахиня, входила с тарелкой, голос чревовещателя шелестел в картонном рупоре на шкафу, и отец с газетой, опертой о хлебницу, с ложкой в левой руке, все тем же высокомерно-ласковым жестом слепого царя ерошил волосы мальчика. Он рос, а жест этот оставался одним и тем же, память синтезировала его из бесчисленных ежедневных движений, наполнила тайным смыслом, щемящей сердце тоской. Этот жест вобрал в себя годы. И когда он сидел на его колене, вглядывался в черные буквы, стараясь угадать то место, куда смотрят глаза отца,

и когда стоял рядом, — большая рука по-прежнему ворошила ему волосы: он рос, а отец равномерно зачерпывал суп, Полина входила и выходила, черный рупор вещал дождь, вещал войну в Испании, вещал куплеты тореодора, выходную арию Сильвы, вещал надоедливое, важное или неважное, и ко всему этому примешивалось и приросло на всю жизнь большое и мягкое прикосновение ладони. Все те же зеленые глаза минутами останавливались на нем с какой-то ласковой дерзостью; с некоторых пор рука стала смущать его, и он уже стыдился брать куски с отцовской тарелки, а ведь прежде ему было нипочем выпросить котлету /в памяти тотчас возникли оскорбленные брови Полины: неужели ты голоден?!/ или, вытянув шею, отхватить из его руки полпомидора.

Она была мягкой, но и тяжелой, эта рука, и ее сила загадочным образом проявлялась в том, что она никогда не показывала эту силу. Только раз он испытал ее: запомнился маслянисто-желтый, веселящий и раздражающий блеск стеклянных шаров; оба откуда-то возвращались, и в транс воспоминаний, в этом самогипнозе мимолетный эпизод словно застыл навеки в прозрачном янтаре. Беззвучное эхо его пронеслось сквозь десятилетия. И, может быть, это было не событие, а необходимое сочленение памяти, которое сообщало жизни повествовательный порядок; может быть, он помнил уже не самое событие, а вспоминал воспоминания. Только раз он сбегал вниз по эскалатору, а ступени несли его вверх, он сбегал, а они его возвращали. Внезапно нарушились все регуляции, он как будто не слышал отца, его крепнувший зов; восторг непослушания охватил его; отец ждал, лестница текла и текла к его ногам. Кажется, это был поздний вечер, и метро уже опустело. И то, что отец не спускался, не пытался его ловить, наконец отрезвило мальчика: он подъехал, растерянно хихикая, с блаженной улыбкой идиота, и отец схватил его за руку своей левой рукой, точно надел наручник, — тотчас дребезжащий смех смолк, и мальчик чуть не разрыдался. Они быстро шагали рядом, это был ужасный, навсегда испорченный вечер, но страдал он не от боли в руке, а от молчания.

Отец умел молчать и пользовался молчанием как страшным оружием. Ничто не могло быть тягостней этого молчания, как будто из комнаты выкачали воздух, все звуки становились беззвучными, вернее, оглушали; уж лучше бы его оскорбили ремнем. Но ремень не употреблялся, это была легенда, услышанная от каких-то других народов; зато молчание! Не было кары страшней, когда оказывалось, что не выполнен долг, не отбыта некая повинность, смысл которой — будем откровенны — заключался отнюдь не в ней самой. Потому что на скрипке играли только ради отца. Ради того, чтобы все было хорошо. Чтобы отец, спокойный и могучий, шагал по коридору, сидел за столом и взглядывал зелеными искрами глаз, не томимый никаким предчувствием. Сама игра не имела значения.

Да, никакого значения, вопреки вдохновенным тирадам отца, когда, бывало, в хорошем настроении, полулежа на диване, он рассуждал о великих виртуозах, упражнявшихся целыми днями с утра до вечера. Но она была заповедана богом, утешала и радовала его; невыполнение — мрачило и повергало в молчание! Было очевидно, что под ней что-то подразумевалось, не могло же это пиликать нравиться ему само по себе. Но музыка поистине была кумиром для этого человека. Все смолкало и трепетало, все должно было мысленно возносить молитвы, когда хрипучий репродуктор рыдал на шкафу: "О, если б навеки так было!.." Великий, уже умерший певец, в бессчетный раз и не боясь наскучить, исполнял Персидскую песню. И мальчик в почтительном недоумении взирал на бога, застывшего с полузакрытыми глазами и как бы качаемого волнами.

Обед был окончен. Полина уносила тарелки. Вопрос — давно подразумеваемый, жданный радостно или с ужасом, — "занимался?" — повисал в воздухе, его наконец произносили губы отца.

О, напряжение и тревога всех этих минут, притворная безмятежность, подозрительная рассеянность под взглядом отца, небрежный шик реплик и попытки отвлечь его посторонними разговорами, — тщетная надежда, что отец за а б у-

дет. Отец никогда не забывал. Даже чувствовал заранее, какой будет ответ. И вот оно опускалось, это беспросветное молчание, в котором бог света и радости темнел, каменел и заволакивался лиловыми облаками. Неуклюжесть Полины: "Зато мы сегодня хорошо поели суп" — морковный суп, эту отраву, богатую витаминами. Отец не отвечал и с каменным лицом читал газету. Вечер был уничтожен. Два одиноких человека сидели друг против друга, отец над газетным листом и он, жалкий, согбенный, болтающий ногами в углу. О, эта тишина, хрип удавленного на шкафу, струящийся свет люстры!

Года полтора тому назад мальчик выдержал приемные испытания в музыкальной школе, он даже имел несчастье отличиться. Отец, не мысливший иного результата, принял это как должное, экзамен должен был лишь санкционировать то, что уже давно было решено, и вот музыка стала вечным крестом его жизни, его колодкой, его каторжным клеймом! Вон там, на шкафу, рядом с перхающим репродуктором, поблескивает оружие пытки, кожаный саркофаг. Но он чувствовал, что в пустыне молчания бог, окутанный облаками, тяжело страдал — и если бы можно было в эту минуту подбежать к нему, объясниться! Вместо этого мальчик сам каменел в напускном равнодушии, в этом дурацком спектакле безответственности — а на самом деле в одиночестве и горе. Он не сумел бы объяснить, почему его так сокрушало это молчание, ведь не от страха наказания. Никакого другого наказания, он знал, не последует. Отцу и в голову не пришло бы ущемить его вещественно, лишить сладостей /впрочем, сладкого он не любил/, отказать в обещанном карманном фонарике; истинное наказание заключалось уже в том, что отец ничего не делал, ничего не говорил, никак не показывал своих чувств — и тем именно обнаруживал, что страдает. Ибо, как уже сказано, единственный смысл постылого пиликанья был тот, что оно восхищало отца. Причина этого восхищения оставалась неясной, но не считаться с ним было невозможно. Отца было жалко.

И даже не только тогда, когда отец бывал удручен, утомлен и, пахнувший дождем и каким-то беспричинным, но несомненным несчастьем, кружил по комнате, хватался за галстук, точно дергал петлю на шее, когда он согбенно сидел за столом, завесив тенью свои прекрасные темнозеленые глаза: это был странный человек, ни с того, ни с сего впадавший в плохое настроение! Так вот, не только тогда. Чувство жалости постоянно жило в мальчике, оно не исчезало и в дни радости, когда отец, молодой, веселый, в расстегнутом летнем пальто входил и подбрасывал его к люстре; и в этом чувстве, невидимо пропитавшем всю их совместную жизнь, мальчик был почти равен женщине.

Но тут жалость мерялась с жалостью же. О, они отлично угадывали друг друга. Сейчас, болтая ногами в углу, он был и преступником, и жертвой, раскаивался и дулся одновременно, и знал, что величественный бог-отец терзается сомнениями там, за газетой: заставить лентяя взяться за дело сейчас? до утра не разговаривать с ним? уехать? Не знал, что делать, и мальчик: необъяснимая скованность, чары молчания не давали ему сдвинуться с места.

Он поднимался. Суровый, он тащил стул к шкафу под косвенным взглядом того, занавешенного газетой. Ни слова не было произнесено; упертый в пол взгляд сына демонстрировал его непреклонную волю выстоять до конца: то был мятеж, бунт, под маской нарочитого послушания; но уже отщелкивались замки саркофага; мурлыкал рупор, и отец поднимался, чтобы вынуть вилку из штепселя. Как-никак это был жест примирения. Но молчание по-прежнему разъединяло их, точно темная река. На том берегу отец все с тем же прилежным видом пробегал глазами газетные заголовки: стул, и футляр со скрипкой, и разворачиваемые ветхие ноты — были приняты к сведению, не более. Между тем позиции окончательно переменялись, сын наступал, отец оборонялся, сын был жертвой, отец — насильником и обречен был терзаться муками совести, и так ему и надо. Не без вызова был водружен на стол будильник, заниматься так заниматься: час и ни минутой меньше. В дверях укоризненной тенью

встала Полина: время-то половина десятого! Мальчик извлек инструмент из кожаного футляра, в глубоком молчании умастил смычок канифолью. Встал в позицию — расставив носки ступней под углом, с задраным подбородком, со смычком, трагически занесенным над струнами. И-и-и... раз!

Точно флагеллянт ожарил себя плетью.

Ах ты, Господи. Старые, обклеенные по углам упражнения Шрадика, не утерпев, съехали с буфета, служившего пюпитром. Отец проворно нагнулся и водрузил ноты на место. Ему пришлось подержать их некоторое время. И унылый, тянущий за душу звук повис в воздухе, возвещая о мире и радости, вновь сходящих на землю

После этого никто уже не удивился, когда приоткрылась дверь и вошел шаркающими шагами призрак.

Раз в неделю, по понедельникам, отец приходил со службы на два часа раньше, сын ждал, уже одетый, и они ехали на трамвае к Илье Моисеевичу, учителю музыки, держа под мышками саркофаг и папку с оттиснутой лирой. Ибо не могло быть и речи о том, чтобы заниматься в районной музыкальной школе, — только у частного знаменитого учителя, к которому устраивались по протекции. Учитель, старый, неряшливый человек, одинокий и бедный, несмотря на чудовищную плату, которую он брал за свои уроки, жил в каморке, увешанной портретами композиторов и фотографиями своей молодости. Месяц тому назад старый учитель умер, отец подыскивал нового. Разумеется, занятия не могли прерываться ни на один день. Исполнялись старые пьесы, руководством служила тетрадка учителя с расписанными позициями, с его собственными упражнениями, с восклицательными знаками. Итак, призрак учителя в старой вельветовой куртке вошел, зябко потирая руками, и стал напротив буфета. "Подбородок!" — скомандовал учитель. И мальчик покорно вытянул подбородок, положил голову, точно на плаху, на эбонитовый подбородник. "Локоть. Выше гриф!". Мальчик оторвал локоть руки, подпиривший скрипку, от живота, лишив себя последней опоры и чуть не падая на буфет; ноги дрожали,

точно он съезжал под откос; все, все в этих занятиях было придумано для того, чтобы его мучить, насколько легче было бы держать гриф правой рукой; он смотрел на свои невыносимо растопыренные, распятые на струнах пальцы, плохо различая их сквозь слезы, стараясь не мигать, чтобы не потекло по щекам. "И-и раз, и... первый палец, третий па-алец!" — громко пел Илья Моисеевич, дирижируя свободной рукой, а другой придерживая ненадежные ноты. Это был его прославленный метод — петь и дирижировать. Жалкие, тягучие звуки раздавались в комнате, их слышали соседи и возмущались бессердечием людей, заставляющих ребенка пиликать до поздней ночи. То была бессмертная мелодия, творение безымянного гения — гамма до мажор. Отец внимал ей, сидя за столом вполоборота. Полосатый свет люстры струился на его лоб и скатерть. И так он и сидит до сих пор в дальней вечности воспоминаний, охваченный невыразимым чувством счастья, любви и покоя, со скомканной газетой на коленях, сидит и смотрит на затылок мальчика, на его руку, которая водит смычок.

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Тремя звонками возвещала о себе и тетка, но что это были за звонки! — суетливые, дребезжащие, и пока Полина, вытирая мокрые руки о передник, бормоча: "Сейчас, сейчас", бежала из кухни, нетерпеливая триоль взрывалась с краткими промежутками, точно там, за дверью, тетку поджаривал адский огонь. Она вваливалась, потрясая монументальной сумочкой, чудовищным ридикюлем во вкусе тех лет. Мальчик ждал ее в безопасном укрытии, за письменным столом.

Тотчас раздавался плеск в прихожей; едва успев сбросить шелковый плащ тетя мыла руки под краном. Брезгливость была ее манией, мытье рук — всегдашней усладой, вкупе с морковным супом и чтением романов. Затем снова зацокали ее каблукы — и остановились. Мальчик ждал. Хотя вряд ли было для нее неожиданностью то, что она увидела.

Плакат, висевший налево от двери, между швейной маши-

ной и шкафом, изображал тетку в облике фантастического чудища, с клыками и рогами, загнутыми, как у тура; между рогами вздымались винтообразно закрученные волосы, отдаленно напомилавшие ее шестимесячную завивку, и в когтях у тетки, как два окровавленных меча, краснели две морковки. Было совершенно очевидно, что понадобилось влезть на машину, чтобы прилепить к стене это произведение графического искусства, следовательно, пострадали и обои; но наибольший урон был нанесен швейной машине, на ее столик должны были стать ногами. И, разумеется, не могли отказать себе в удовольствии посидеть верхом на ее лакированной крышке. Все эти мысли вихрем пронеслись в ее голове. Обилие преступлений наполнило душу тетки горьким удовлетворением, действительность подтвердила ее правоту: ребенок был испорчен "до мозга костей", в чем она склонна была усматривать дурное влияние Полины как малообразованной женщины и к тому же русской. В броне величественного презрения она пересекла комнату, не обращая внимания на мальчика, а может быть, и в самом деле не заметив его под столом. Из всех углов смотрели на нее оскаленные чудища, негодяй трудился над ними полдня; под самым потолком, откуда его не так просто было сорвать, плакат, склеенный из трех листов бумаги для рисования, взывал к революционному пролетариату: Все на борьбу с теткой Ф и р к о й! Война была объявлена. Прежде чем удалиться /в большую комнату/, тетя окинула взглядом обезображенные стены; стол посреди комнаты как всегда был покрыт плюшевой скатертью с полянами, выеденными молью, — приданным мамы, бабушки, которую он никогда не видел. С люстры свешивался боевой флаг. Она оглядела комнату и сардонически улыбнулась. Чем хуже, тем лучше! "Полина!" — позвала она великолепно, звучным и торжествующим голосом.

"Полина, — не смей ничего трогать. Пусть отец полюбуется". И она уплыла, качая бедрами. Опустим многосмысленный подтекст, отчетливо прозвучавший в этих словах и в гораздо большей степени адресованный "прислуге", чем самому преступнику. Она провела там десять минут, — в это время

мальчик покинул свое убежище, влез на стул и пририсовал страшному чудищу черным карандашом усы. Теперь лицо тетки напоминало портрет товарища Сталина — разумеется, без всякого умысла со стороны художника. В молчании, сверкая шлемом и потрясая доспехами, он исполнил перед идолом пляску воинственных горских племен. Послышались шаги, — он упрыгал в свое укрытие. Изредка из-под стола мигал его карманный фонарик. Тетка прошествовала на кухню, откуда спустя немного времени явилась, неся на подносе дымящуюся еду. Существовал особый шик в том, чтобы нести тарелку на никелированном подносе; можно было бы сказать, что она двигалась как бы несомая в свою очередь на серебряном подносе, возносясь над пошлостью коммунальной квартиры. Снова с наслаждением она мылила под краном руки, из полутьмы прихожей сверкали ее глаза, оправдывавшие ее библейское имя. Черные глаза, похожие на маслины. Где они теперь?

Морковное пюре, как всегда, утвердило ее в высоком чувстве самоуважения. "Ах, какая прелесть, — говорила она как бы для себя самой, — как вкусно и как полезно!". Слова эти также не лишены были внутреннего значения, состоявшего в том, что научная оценка пищи доступна лишь избранным натурам. Она и в самом деле утопала в блаженстве. Покончив с едой, она имела обыкновение покоиться в кресле с книгой.

Звук военной трубы нарушил молчание! На ветру развернулся боевой штандарт красной гвардии. Блеснула медь доспехов. Из прихожей медленно двигалось грозное шествие. Мальчик держал наперевес старую трость с костяным набалдашником, в правой руке перед собой он нес крышку от бельевого бака. Щеки его раздувались, — он исполнял походный марш, — и глаза блестели от волнения. Сердце билось, как оно уже никогда в жизни потом не билось. Так, под дробь барабанов, печатая шаг и одновременно удерживая в шенкелях горячую лошадь, рыцарь и пехотинец, он пересек комнату и оказался перед креслом; за высокой спинкой видна была голова тетки, как бы погруженной в сон. Но в

вырезе кресла внизу, заполняя его, выбухало телесной полнотой уязвимое место. С сердцем, грохочущим в груди, стучащим в висках, мальчик занес копьё, — ! — удар был нанесен в выбухающую часть, он бросился бежать, гремя крышкой от бака, и вопль уязвленного неприятеля сладкой музыкой звучал в его ушах. Тетка вскочила, она была ранена, искалечена, ей нанесли увечье! Гневные слезы лились из ее глаз.

По-видимому, общество двух женщин, из которых одна была достаточно любвеобильна, а другая выгодно оттеняла ее, создавая противовес, устраивало мальчика; никто не осведомлялся, отчего он никогда не спросит о матери, никого это не удивляло, считалось, что он все забыл. И так оно, в сущности, и было. Он не мог бы сказать, какого она была роста, какого цвета были ее глаза и волосы, вообще, не смог бы описать ее ни единым словом. Фотографий ее не осталось или они были упрятаны куда-то. Так что, если бы спросили, какая она была, он ответил бы, х о р о ш а я , или какой-нибудь другой милой детской глупостью, подразумевая неизвестно кого. Она ушла, не оставив по себе ни скорби, ни сожалений, не возбуждая даже любопытства: облик женщины, державшей его на руках в бесконечно далекие для него времена, исчез навсегда, бесследно рассеялся в памяти, подобно тому, как в огне без остатка растопилось ее тело.

Облик? — да. Но не образ. Здесь скрывалось противоречие, о котором мальчик, само собой, не помышлял, которое не сумел бы объяснить даже отец, единственный, кто доподлинно знал, что на самом-то деле мальчик ничего не забыл.

Ибо память нельзя уподобить трехмерному пространству сцены, на которой двигаются, встречаясь и расходясь, персонажи минувшего; миры памяти можно сравнить с рядами зеркал, обращенных друг к другу: то, что присутствует в их клубящейся пустоте, лишено качества наглядности. Образ матери жил в одном из этих миров, его и не нужно было вызывать, не требовалось усилий, чтобы оживить его, не надо было напоминать о нем: он жил — сам по себе. Зеркало отражало другое зеркало, — спустя много лет в памяти возник образ памяти же; в детстве, как и через много лет, маль-

чик не помнил слов, но зато помнил голос; не помнил цвет глаз, но помнил их выражение, помнил звук шагов, шорох одежды. Непостижимым образом он даже помнил запах матери. Без сомнения, он забыл много важного: в сущности, забыв ее всю; все, что осталось, были обрывки, намеки; но это оставшееся образовало часть души и вплелось, так сказать, в субстанцию его жизни.

Впрочем, и обрывки хранили изумительную яркость — отчетливость обстановки, среди которой блестящим, но недостаточным глазу пятном появлялась та, которая придавала таинственный смысл этим воспоминаниям. Не надо было только эксплуатировать без надобности эти картины — не надо было слишком часто вспоминать. Редко вспоминая, лучше помнят. — Он помнил высокий потолок и полумрак широкого коридора в их прежней квартире, звонок и себя на цыпочках, открывающего высокую парадную дверь. Тотчас в переднюю проворно вошла яркоглазая цыганка с узкими бронзовыми руками, вошла с очевидным намерением украсть его, по крайней мере, так о них говорили, — и та, что была его матерью, высокая или низкая, он не знал, но очень молодая, в одной рубашке выбежала из комнаты — очевидно, она уже была больна в это время.

Другой эпизод был связан с мусульманским камнем Кааба, черным пианино, стоявшим у окна: мать, повернувшись к мальчику, покачивая головой и играя бровями, играла "Мой Лизочек" и "Похороны куклы". В памяти брезжил неуловимый блеск ее глаз, блеск гладких волос, но и тут внутреннее зрение было ослеплено, и в центре, где находилась она, стояло сияющее пятно, тогда как все окружающее виделось четко: и зимний день за окном, и блестящее пианино, и он сам на полу возле ее ног, и даже кончик узкой туфли, нажимающей на педаль.

Он помнил, как она лежала в постели, — оттуда, из простыней, журчал ее смех; мальчик расхаживал по комнате, увешанный оружием — какими-то палочками, карандашами; мать учила произносить букву Л: он говорил уошадь, уожка; отец приходил с работы, она лежала; мальчик сидел на полу и

строил водопровод — а она лежала, она всегда лежала. Теперь было ясно, что все происходившее перед этим было в ином времени, в совсем другой жизни: память воспроизводила ту, прежнюю память. Вернее, она полусидела, на одеяле были разложены ведомости, она переписывала бумаги для домоуправления, так как больше не могла играть на пианино. Но, как и прежде, он не различал ее лица. Он забыл его.

С некоторых пор он находился у родственницы, которую, как ни странно, помнил гораздо лучше, может быть, потому, что и это оказалось на периферии зрения; то была полная приземистая старуха в очках с такими толстыми стеклами, что глаза за ними походили на выпуклые глаза рыбы. В белом зубо-врачебном шкафу у тети были припасены фисташки; она уверяла, что они растут там, и мальчик верил.

В это время мать лежала в больнице и с ней там что-то делали. Что-то неинтересное. Веселые дни, без тени и облачка, счастье, струившееся из окон, ослепительный блеск стекол в доме напротив, хрустальный звон сосулук! Диван, на который он бросался с разбега! В один из этих дней, расплывшихся в голубизне, пришел отец, днем, когда его никто не ждал, в пыльном солнечном луче его лицо было залито дождем. Вот это он запомнил с пронзительной яркостью: дождь, струящийся по щекам, и сквозь эти потеки — голос отца, неправдоподобно тонкий и как будто хихикающий, голос, лепечущий смешные слова... Мальчик не может удержаться, он хохочет!

Но вдруг до него доходит их смысл, он валится на диван, кто-то сует ему подушку, пахнет зубным лекарством, голос тети: "не трогайте, пусть выплачется", но как раз плакать он и не может, точно кляпом заткнули ему рот, глаза, грудь, ему кажется, он вот-вот разорвется. Наконец, слезы брызжут наружу, он плачет долго и безутешно, потом он засыпает, побежденный усталостью и небывалой, никогда не испытанной головной болью. Здесь наступает большой провал — точно он проспал несколько месяцев; сразу после того дня, безо всякого промежутка, он видит себя стоящим в прихожей, в их теперешней квартире, с задранной головой, рядом

с отцом. Тишина, горит свет. Свет, электрический или солнечный, всегда присутствовал в его воспоминаниях. Отец, вежливый и спокойный, договаривается об условиях с домработницей: это Полина, в платке, с темным лицом, незнакомая и враждебная, ничуть не похожая на ту, которая теперь.

Ни отец, ни мальчик никогда не говорили о матери. Не упоминали о ней. Портретов ее не сохранилось /хотя сын знал, что в большом ящике письменного стола, на дне под кучей бумаг, лежит фотография. Он видел ее однажды мельком: заметив ее, он испытал стыд и смущение, точно ненароком заглянул в книжку с неприличными картинками, — стыдно, потому что мучительно интересно. Он, собственно, не знает, что они неприличны, но чувствует, что такими их считают взрослые. Но постыдное и священное — близнецы, и, может быть, это был трепет святотатца, приоткрывшего покрывало, чтобы взглянуть на то, чего никто не имел права видеть. Так и он не имел права смотреть на лицо матери, болезненно-доброе, в пенсне, с полукружиями разделенных пробормом волос. Похожее или непохожее, он не знал. Но и отец, сколько помнилось, никогда не заглядывал в стол. Мальчик понял: нельзя было дать малейшего повода, по условиям этой странной игры, заподозрить, что кто-нибудь из них знает о существовании портрета/. Даже в день, когда они ездили туда, — первое воскресенье апреля, — закон молчания не нарушался; они завтракали, выходили на залитый солнцем тротуар, перебрываясь фразами о постороннем; пустой трамвай долго вез их кривыми безлюдными переулками; во дворах, между деревянными домишками, чернели глыбы снега. Чем ближе к концу пути, тем меньше они говорили друг с другом; воцарялась глухая немота, сын смотрел в окно. Мальчик играл в игру, придуманную им самим: двигал вверх и вниз задвижку трамвайного окна, и от этого будто бы зависело движение трамвая.

Несомненно, вера, в которой мы себе не признаемся, вера в то, что умершие в каком-то смысле не умерли и наблюдают за нами, и боязнь огорчить умерших — толкают нас на подоб-

ные поступки, заставляют совершать бесцельные паломничества к местам, по существу не имеющим к ним никакого отношения. Да еще тащить с собою детей. За купами деревьев возвышалось подобие прямоугольной трубы из камня, той трубы, которая совсем немного времени спустя стала эмблемой судьбы всего их народа. Отец нежился на солнышке где-нибудь на скамейке невдалеке, а сын брел вдоль стены, замороженным видом бесконечных мраморных и эмалированных табличек, белых и желтых, как старые зубы, и бесконечных, бесконечных лиц — стариков, взрослых, девушек, даже грудных младенцев. Невозможно было представить себе, куда они все подевались, где они уместились все. Среди них был и овальный медальон с лицом матери, — мальчик лишь делал вид, что не знает о нем, проходя мимо него, он притворялся перед самим собой, что не узнает, — и надпись, составленная от его имени и от имени отца.

Итак, твердо предполагалось, что все происшедшее полтора /или два, или три/ года назад, им забыто, и доказательством служило уже то, что он не спрашивал о ней, не интересовался, кому принадлежали кипы нот, так и лежавшие до сих пор на шкафу — клавиры опер в твердых переплетках, "Времена года", распавшиеся собрания сонат и какие-то совсем ветхие обрывки, — и почему не идут старинные часики в виде домика с дверцей, остановившиеся на другой день после того, как она в последний раз их завела: точно она одна знала секрет их завода, впрочем, мальчик давно сломал пружину и потерял ключ. Ничего другого не осталось, никаких женских вещей: ни флаконов с духами, ни туфель, ни шпилек, как будто все шпильки до одной расплавились и сгорели вместе с ее чудесными блестящими волосами и черной струйкой вылетели из трубы крематория. И если даже что-то и брезжило в его памяти, предполагалось, что оно ничего для него не значит; что даже смысл поездок на кладбище ежегодно в один и тот же день — до него не доходит: если бы вместо этого поехали в зоопарк, он бы не спохватился. Тетка склонна была винить в этой бесчувственности дурное воспитание. Полина нарочно умилялась невинной беспамятливостью

детской души. Но в том, что он ничего или почти ничего не помнит, убеждены были обе.

Между тем еще одно, невероятное и необъяснимое воспоминание хранилось в душе мальчика: один день, даже не день, а вечер, и, должно быть, уже поздний вечер, но без границ во времени — вечный вечер, затопленный ослепительным электрическим светом. Рассказать его было бы невозможно; быть может, в нем соединились воспоминания многих вечеров; да он ничего толком и не помнил, одни голоса и улыбки, из бесконечной бездны времен до него доносился беззвучный, журчащий смех, и это был смех матери. Два лица, черты которых он не мог различить, два светлых овала склонялись над ним, и еще он запомнил край стола, крахмальную скатерть и круглый предмет. Много лет спустя, когда он осознал это воспоминание и охотился за ним в зыбком хаосе памяти, — так пытаются ухватить скользкую блестящую рыбу, — он догадался, что это был за предмет, лежавший на тарелке или на круглом картонном дне: торт или ромовая баба; но он никогда не любил сладостей, и в этом аквариуме света и счастья торт был только условным аксессуаром. Одинокая свеча, символизирующая жизнь ребенка, высокая и тонкая, возвышалась над столом, и тайна соединяла эти два смеющихся овала. И смех, и разговоры, от которых остался в памяти слитный звук голосов, блестящая, журчащая речь, и то, что было его матерью, блеск глаз, запах волос, и высокая, розовая, еще не зажженная свеча — все это виделось точно в глубине водоема, и чем старше он становился, тем уверенней знал, что это — было, а не приснилось ему. Каждая эпоха его жизни передавала это воспоминание следующей, и, повторяясь в зеркалах, оно мелькало и исчезало, как только он пытался всмотреться в него, неуловимое, но такое же реальное, хотя и недоступное словам, как какое-нибудь ощущение, исходящее из внутренних органов.

Как мог он сохранить память о временах, которые ни один человек не может помнить? И все-таки это было оно, начало его жизни, мелькнувшее и исчезнувшее, как тело змеи в траве, чтобы потом мелькнуть в другом месте, далеко

впереди. Возможно ли помнить себя годовалым? Конечно, нет, и в конце концов он не мог бы ручаться ни за одну подробность; тем очевидней, однако, было ощущение несомненной реальности целого. Но тут было еще одно, о чем мы не сказали: навязчиво-абсурдное чувство, в котором прогревалась важная для него истина, подобная истинам вещего сна или истинам тела, — а именно, чувство, будто мать и отец были некогда одним существом, так сказать, отцематерью. То есть, собственно, была одна мать, в которую, словно в чашу, был каким-то образом погружен отец, и лишь потом они отделились, и обнаружилось, что между ними — возникший из небытия он, мальчик. Тут было сходство с рождением планет, и однажды, много позже, ему пришло в голову это сравнение, но то были уже времена, когда чувство начало выцветать под мертвящим светом разума. Ум относится к ключьям воспоминаний, как он относится к ключьям сна, не находя в них логической связи, а, главное, не понимая, что в них, в этих клочках, почему именно им отдано предпочтение. Почему запомнился этот вечер, а не другой, почему нам снится случайное, ради какой надобности ожило во сне давно истлевшее воспоминание о человеке, по-видимому, не сыгравшем в нашей жизни сколько-нибудь значительной роли. И однако в этих клочьях брезжит некий смысл. Отец и мать были единым телом, они возникли из одного светящего существа и должны были разъединиться, чтобы возник он; они разошлись, как половинки шара, и между ними лежал мальчик. Тогда, глядя на свечку и ромовую бабу, он еще помнил, что был частью их. Такова была эта странная космогония, таким мог быть необъяснимый ход мыслей мальчика, если бы смутное ощущение превратилось в мысль.

ВЕЩИ. ЕЕ ВЫСОКОРОДИЕ

"Ма. Расскажи о море".

"Да уж я рассказывала".

"Еще!"

"Чего ж тебе рассказывать, если ты все считаешь обманом".

"Видишь ли, — мальчик говорит голосом, похожим на голос отца, — видишь ли. Сказки тоже обман. Но мы их слушаем с удовольствием. И... на минуточку верим".

"Если веришь, — сказала Полина, — значит, было на самом деле. Не веришь, то и не было".

"Может быть, — сказал мальчик, глядя на нее исподлобья, — он стоял на доске".

"Ну, чего болтаешь. Какая доска?"

"Или на плоту. Как Том Сойер".

"Я не могу с тобой спорить. Я не ученая".

Вздых.

"Вот пристал. Пристал, как банный лист". Это тоже выражение отца, которого они оба копируют.

И все же ей приятен этот разговор, ведь мальчик единственный собеседник, который способен отнестись к ее рассказу с абсолютной и непритворной серьезностью. Это не значит, что он воздержится от критики, цель которой — сделать более правдоподобными некоторые детали. Она знает почти наверняка, что повествование будет прервано неподобающими вопросами. Возникнет теологический диспут, в котором она не сумеет удержаться на должной высоте. Но другого такого случая у нее не будет.

При этом, как всегда, она испытывает внутреннюю борьбу. Не в том дело, что Бог и Евангелие — обман, а по ее мнению — правда. У нее достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что большинству людей и властям до Бога не было бы никакого дела, если бы самому Богу не было бы никакого дела до людей. То есть если бы он оставался у себя на небесах. Его соглашаются терпеть лишь при условии, что он никуда оттуда не двинется. Тогда про него забудут. Бог, он вроде раскулаченного, все добро отняли, лишен всех прав; пусть еще спасибо скажет, что жив остался. Но ведь на то он и Бог, чтобы жить среди людей, без людей он не может. Его, как бы сказать, сослали, а он самовольно вернулся. В этом и заключается его преступление перед советской властью. И во все

это она впутывает мальчика. Что сказал бы отец? Все равно, что совать ребенку папиросы.

В глубине души она знала, что то, что записано в Евангелии, и то, что говорится по радио и о чем пишут в газетах, — вещи несовместимые. С одной стороны Спаситель, грех и искупление, а с другой — Ленин и Сталин, склеенные щеками; как это согласовать? Да никак. И она понимала, зачем понадобилось разрушать церкви и арестовывать попов. Затем что нельзя служить Богу и черту в одно и то же время. Но она не могла это выразить в четких определениях — да и не решилась бы, — и это служило ей оправданием перед самой собой. Сама того не подозревая, она осознала великую истину: нельзя формулировать идею до конца, иначе жить будет невозможно. В ее душе, жаждущей гармонии, произошло великое примирение Христа и советской власти. И ведь вот, например, Елоховская церковь все еще работает. Значит, можно...

Здесь уместно будет сказать несколько слов о политических воззрениях Полины. Разумеется, она никогда их не выражала, — сделаем это за нее. В памяти Полины запечатлелись две эпохи, одна из которых — НЭП — представлялась ей золотым веком, другая же, последовавшая за ней, казалась необъяснимым провалом истории, в сущности, ее следовало просто забыть. И она испытывала искреннее сочувствие к власти, взвалившей на себя бремя забот о благосостоянии народа. Вместо того, чтобы строить счастливую жизнь, она, эта власть, вынуждена все время отвлекаться. Мешают разные шпионы, диверсанты — остатки помещиков и капиталистов. А главное, приходится отвлекаться, чтобы кормить ленивый народ, которому надоело пахать землю. Все норовят в город, на все готовое. Социализм давно уже был бы построен, если бы не этот народ. С этой точки зрения народ представлялся неоплатным должником государства. И поскольку она сама до некоторой степени принадлежала к тем, кому наскучило пахать, она ощущала нечто вроде комплекса гражданской вины перед властью.

"Ма, — просит мальчик, — расскажи о море".

Она начинает — медленно и осторожно, словно сама входит

в воду, прозрачную и холодную. Она рассказывает так, как будто речь идет о каком-нибудь таинственном приключении в тихом деревенском захолустье, таинственном и в то же время будничном. Хотите — верьте, хотите — не верьте, а люди своими глазами видели. Ну, так вот...

"Шли они, шли..."

"Кто — шли?"

Не успела она начать, как он уже переспрашивает. И не потому, что не знает. Наоборот: он все знает наизусть, все подробности. Но он уже живет в рассказе и хочет расположиться в нем с максимальным комфортом. Мальчик — формалист, как все дети: ему нужно, чтобы все было названо. Все графы должны быть заполнены.

"Да, так вот. Погода жаркая, притомились. Подходят к берегу".

"Это было море?"

"Да. Или озеро. Но большое, берегов не видно".

"Глубокое?"

"Конечно. Подходят к морю... А им нужно было переправиться на другую сторону. Достали лодку, сели и поехали".

"Постой. Как же они все уместились?"

Замечание справедливое. Но оно сделано не для того, чтобы разрушить рассказ, а для того, чтобы утвердить его достоверность. Реалистические подробности! Закон эстетики. Тогда чудесное на этом фоне будет выглядеть еще поразительней.

"Вот так и уместились. Лодка была большая, а что тут такого? У нас в селе один перевозил через речку, баркас знаешь какой у него был? Человек пятнадцать посадит, и еще место останется".

"Дальше рассказывай".

"Да. На чем я остановилась? Да, так вот... Сели в лодку, а он остался. Не захотел с ними ехать. Вот они плывут, а уж и солнышко закатилось. Берега еще не видать. Поднялся ветер" "У них был парус?"

"Не знаю. Кажется, нет".

"Это глупо, что они не взяли парус".

"Ну, не взяли, что я могу поделаться. Сильный ветер гнал волны по морю. Лодку так и швыряет. И стало им страшно..."

Мальчик смотрит на нее круглыми глазами. Эффект достигнут. Он смотрит ей в рот, он видит перед собой туманное море и высокую белую фигуру над волнами.

"Вдруг апостол Петр говорит: А что это там виднеется? Они все посмотрели, и правда, кто-то к ним приближается. Вроде бы человек идет по воде... Подходит ближе. И видят, что это он. И глазам своим не верят. Нет, говорят. Это — привидение. Это у нас в голове от страха мутится. Кто это, кто это? Нет, мы просто сошли с ума. А лодку так и бросает. Брызги летят. Сидят все мокрые. Тут Иисус поднял руку и говорит: Не бойтесь. Я не привидение. А они ни в какую. Не верят".

"Очевидно, плохая видимость", — пробормотал мальчик. "Чего?"

"Дальше, — приказал он, понимая, что навигация — не женского ума дело. — Рассказывай про Петра".

"Да. Вот, значит, апостол Петр вдруг расхрабрился и говорит: Господи! Если это взаправду ты, то вели, чтобы и я к тебе пошел по водам".

"Ему тоже захотелось попробовать?"

"Он хотел показать, что он самый лучший ученик. Дескать, другие сомневаются, а он верит. В общем, убедил себя: вот встану и пойду".

"Понимаю, — сказал мальчик. — Хотел испытать силу воли".

"Господь из моря ему говорит: Ступай. Он встал и пошел. Вот так: шаг, другой — и пошел. Когда человек верит, то так оно и есть. И Господь ему издали улыбается.

И все бы хорошо, да Петр вдруг испугался. Глянул себе под ноги — батюшки, страсть какая. Кругом вода. И от лодки далеко, и до Иисуса далеко. Как же, думает, ведь потону. И только он это подумал, сразу пошел на дно".

"Его вытащили?"

"Вытащили, — сказала Полина с благодушным презрением. — Небось, не утоп. Вымок весь аж до костей. Трясется. А Гос-

подь ему и говорит. Эх ты, мол. Куда ж ты полез? И только вошел к ним в лодку, как и ветер утих. И берег показался. Вот тебе и вся сказка".

Подумав, мальчик сказал:

"Постой, тут что-то не то. Ты сама говорила, в лодке было тесно. Где же он там поместился?"

"Я этого не говорила", — возразила она.

"Нет, говорила, я сам помню".

"Да не говорила я!"

"Нет, говорила. Говорила".

Казалось, мальчик весь был устремлен в будущее: именно таким, будущим человеком, он был для взрослых, в глубине души не допускающих мысли, что он уже сейчас — человек, то есть нечто осуществившееся. Им казалось, что он ежедневно готов принять меняющийся мир, без сожалений отказаться от себя, что душа его во власти формирующих сил, а память — лишь тонкая пленка на зыблущейся поверхности, готовая каждое мгновение разорваться, подобно тому, как его телесная оболочка непрерывно взрывается изнутри силами, преобразующими его плоть. Отсюда вытекала пагубная безответственность взрослых, не склонных придавать значения духовному достоянию мальчика и не умеющих ценить его ценности. Отсюда происходило их убеждение, что мир, в котором он живет, это мир несовершенный, гротескно-упрощенный, плоский и лишенный перспективы, наподобие детских рисунков. И с той же улыбкой, с тем же снисходительным презрением, с каким Робинзон смотрел на приближающегося к нему, приплясывающего и творящего магические жесты Пятницу, взирали они на жизнь мальчика в двух загроможденных рухлядью комнатах московской квартиры конца тридцатых годов, — на его мечи, копья и амулеты, сваленные в углу, бумажный флот в темной нише под письменным столом, подлинном приюте его души, где, посвечивая в сумраке широко открытыми глазами, он умолкал, погружаясь в загадоч-

ную медитацию. Для взрослых это сидение под столом означало лишь упорное нежелание заняться разумной деятельностью; но какую разумную деятельность они могли противопоставить его жизни? Он предпочитал "обирать пыль".

Он пробуждался. Вчерашний шлам, истинная пыль времени, мелодраматизм судебных процессов, громыханье газетных передовиц обретали новую, в некотором смысле более долговечную жизнь в его неуклюжих изделиях, в его фрегатах и галеонах. Мальчик вел свои корабли в туманный океан. На помощь! Там, "за далью непогоды", погибал, охваченный пламенем флагман "Адмирал Нельсон". То горел испутильным огнем прокурор Вышинский вместе со своими обвиняемыми. Неожиданно дверь отворилась, и вошла Полина в пальто, с хозяйственной сумкой, лицо ее выражало сосредоточенную тревогу. Комната была полна дыма. Мальчик сидел под столом, внезапное смещение координат мгновенно мобилизовало его сообразительность: следы преступления были уничтожены, широкая мокрая полоса от половой тряпки удачно маскировала выжженное пятно. Но дым его выдал. Ужас и смятение Полины. Кашель мальчика из-под стола. Обгорелые клочки на тряпке. В этот кульминационный миг разоблачений ей вдруг стало жалко его. Вот так всегда: бог знает, что пробуждает в ней эту жалость, может быть, предчувствие неотвратимых бед, которые еще ждут его. С той же превосходительной добротой Робинзона она расстелила коврик, отворила окно. Отец заметил пятно на полу лишь несколько недель спустя, когда острота события давно притупилась.

Когда он "осознал". Такова была обычная версия взрослых, с их презумпцией прогресса, который они понимали как непрерывный самоотказ. Они могли великодушно простить ребенку шалость или покарать его в воспитательных целях, но им и в голову не приходило признать за ним то, что они молчаливо предполагали естественным в самих себе — самодовлеющую экзистенцию. Они думали, что он переживает свое детство как тесную оболочку. И почти намеренно

закрывали глаза на непонятный им в мальчике консерватизм достигнутого.

Этот консерватизм непостижимым образом распространялся на быт. Быт, можно сказать, служил его инобытием. Мальчик не любил гулять, огромный город не манил его, он с удовольствием проводил весь день дома, с замечательным искусством симулировал насморк. Угрюмо и настороженно посматривал на пришельцев. У него были любимые блюда, он готов был есть их каждый день. Пристроившись на краю стола, он рисовал одно и то же: рыцарей, змей. Он не ведал скуки, не знал пресыщенности. Власть мелочей он воспринимал как опеку и защиту, он дружил с вещами. Ни чем иным, как выражением этой дружбы, был ужасающий беспорядок, посреди которого он жил, ползал по полу, отвернувшись от взрослых, что-то мастерил, с царственным равнодушием внимая ядовитым проповедям тетки, ядовитым потому, что они должны были, отскочив от его затылка, рикошетом поразить Полину, неспособную приучить ребенка к аккуратности. Мальчик давно привык к тому, что он служил чем-то вроде отражательной поверхности, при помощи которой взрослые обменивались мнениями друг о друге.

Странное значение, которое, по-видимому, он приписывал окружающим его предметам, лишь утверждало незыблемость домашнего мира; в этом мире он жил удесятенной жизнью, оттого-то никто, как он, не был привязан к семейному статус кво. В мальчике жило предчувствие того, что будущие завоевания ампутируют его свободу. Или он в самом деле догадывался, что то, что взрослые люди полагали реальным и важным, была весьма сомнительная важность, весьма подозрительная реальность, если не просто небытие — умерщвленная жизнь. Тогда как он, в тесной оправе убогого быта, был воскресением этой жизни. И, может быть, служил ее оправданием. Но в этой оппозиции миру взрослых у мальчика был союзник. Похоже, что Полина, с ее простотой, лучше других понимала его. Для нее он был одно настоящее, она ничего не требовала, не ждала будущего, не хотела и страшилась его.

хоть и верила, как все взрослые, что будущее — это некое совершенство: ни к чему ей было это совершенство. Культурные ценности были для нее вещью в себе, с которой она не знала, что делать. Вместе с мальчиком, не желавшим никаких новшеств, она находила убежище в раз навсегда очерченном домашнем кругу, и ее смирение было ни чем иным, как скрытой враждой к рационализму взрослых, к их жестокому миру, в котором она была изменницей. Она не требовала, чтобы он разучивал все новые и новые упражнения, читал книжки и совершенствовал свою речь. Ее не коробило, когда он говорил "чего" вместо "что". Сама она говорила на неуклюжем и ласковом языке, на котором говорит народ. С ней было легко и свободно, как в старом костюме, в котором не запрещают валяться на полу. Одним словом, с ней можно было оставаться м а л е н ь к и м . В мире ребенка Полина была свой брат.

Он отвечал ей на свой манер — высокомерием. Десять раз она его звала к столу — он делал вид, что не слышит. Нужно было униженно просить его вымыть руки: дань ритуалу, заведенному взрослыми, который оба они должны были выполнять. Он был несносен, он помыкал ею! Он знал, что в этом поезде он почетный пассажир и без него поезд не тронется. Но взрослым было невдомек, что вот это-то самое "назло", стеклянный взгляд и окаменелое сидение на полу, что это и есть доказательство близости. Понимая это, она не огорчалась его непослушанием. В сумерках он неожиданно осыпал ее поцелуями, его глаза блестели от слез. После этого он неожиданно больно и жестоко щипал ее. Полина была свой брат, отец же был иноземным послом, перед которым представляли в парадных одеждах, с которым приходилось быть "большим". Но это тоже вознаграждалось — и как!

Выходной день принадлежал ему целиком, от пробуждения до вечера, и через тридцать лет он помнил во мгле идущий снизу, от Сретенских ворот, трамвай, два огонька — лиловый и красный — и эту непостижимую зоркость, с которой отец видел, называл номер трамвая, едва лишь показывались

его огни. А загадка объяснялась просто: каждый цвет обозначал определенную цифру. Все это связывалось вместе и тридцать лет спустя выглядело как стройный рассказ: и снег, и меркнувший фиолетовый день, и пепельно-розовая стена Китай-города, и белые плащи тевтонского войска. Как океанский вал: они приближались, катились прямо на нас. Уже были видны конские головы, закованные в железо. А мы стояли у Вороньего камня, под прямоугольным, негнувшимся штандартом князя Александра Невского, и похлопывали себя по бокам рукавицами. Перед нами в снежной мгле расстилалось бескрайнее озеро, дул ветер, поднималась метель, на нас катились рыцари, шли немцы, а мы похлопывали рукавицами и пританцовывали, так не терпелось нам поскорее принять бой. Отец сидел рядом с мальчиком, и казалось, волновался не меньше, чем он. Рыцари пошли на дно. Князь заклеил позором врагов народа, троцкистско-зиновьевскую банду, на том стоит и стоять будет русская земля, и кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Все восторженно зааплодировали. Тогда еще было принято аплодировать в кинотеатрах. И вдруг, когда он был еще полон до краев пережитым, переполнен увиденным, вдруг обнаружилось несчастье: исчезла шапка мальчика, шлем из поддельного барашка с кожаным верхом, купленный за дорогие деньги. Зал опустел, и билетерша сурово ждала у распахнутых дверей, а они все еще искали ее под стульями. И потом в глухом молчании шагали вдвоем сквозь лиловый сумрак, в ртутном сверкании снега. Старая шапка отца моталась на голове у мальчика, и славный князь поник, точно из него выпустили воздух, что-то грубое и наглое вторглось в их жизнь. Но оно не нарушило связность рассказа, и вот, тридцать лет убедили его, что детство, оставшееся вдали, как зеленеющий материк, только оно и было его подлинной жизнью.

Когда, на каком повороте произошло крушение, он не знал. Ему казалось, он растет и мужает, а в это время с ним совершалось что-то страшное; как оперируемый под наркозом, он перенес это незаметно для себя, шелест времени усыпил его. Так пациент пробуждается от нестерпимой жажды и

нового чувства: у него больше нет ног. Прошлое ампутировано и уже не принадлежит ему.

Тридцать лет спустя мир предстал разбитым вдребезги, вещи — враждебными, люди — равнодушными друг к другу. И он понял, что владел тайной и тайна эта была — смысл жизни, воплощенный в гармонии всех вещей. Сколько бы потом ни говорили ему об этой гармонии, он не мог ее ощутить, потому что не видел больше союза между собственным бытием и существованием мира; мир в лучшем случае оставался равнодушен к нему. Никому не было до него дела, и вычеркнуть из мира его никому не нужную жизнь для неведомого Хозяина было таким же пустяком, как, чиркнув спичкой, подержать ее с минуту и швырнуть прочь.

С тех пор никогда день его не был таким бездонным, никогда больше ночи не были мгновенным забытьем и никогда истина бытия не была ему так близка. Словом, только тогда он был в полном смысле слова человеком. Детство подобно Средним векам. В расшитом плаще, окружив себя диковинной утварью, оно жаждет чуда и вперяет широко раскрытые глаза в пространство, окликающее его тысячью голосов. Цветущее средневековье презревшее рассудок ради прозрения, убогий рационализм — ради высшего разума, оно чувствует связь всех вещей. Детство — чародей, одетый в мантию астролога. И вот отчего так впечатались в память мелочи быта: оттого что они не были хаосом бесчувственных предметов. Как мелодия делает необходимым каждый звук и как бы предсуществует по отношению к составляющим ее звукам, так гармония мира, в котором жил ребенок, придавала смысл каждой подробности. И его инстинктивное убеждение в том, что мир строен и симметричен и что он — центр этого мира, было вполне подобно уверенности адепта в том, что сферы разливают на него отовсюду свет и планеты скрецивают на нем свои лучи.

Глухо хлопнула старая парадная дверь, — он вбежал в дом своего детства. Через много лет он вдыхал затхлый холод подвала, запах пыли, известки и обросших паутиной проводов. Одним прыжком перелетел он через три вогнутых, от-

полированных ступени, ведущие на площадку первого этажа. Ему не приходило в голову, что несколько поколений жильцов вытоптали эти углубления в камне, прежде чем он появился на свет. Он читал пожелтые тексты на доске объявлений:

"Трудящиеся, вступайте в ряды МОПР".

Хотя ему объяснили, он толком не понял, что это значит; объяснение было маловразумительным; однако в мире мальчика эта надпись имела все же свой смысл — символический и декоративный; тогда как для взрослых она как бы вовсе не существовала.

"Совместной борьбой добьемся освобождения тов. Тельмана".

Кто такой Тельман? Он и этого не знал. Но Тельман обрел бессмертие. Потому что, как знать, — может быть, в этом и состояло его высшее предназначение: стать частью воспоминаний о полутемной лестнице детства. Может быть, только она, эта лестница, спасла его от забвения. Рядом висело воззвание к квартиросъемщикам, своевременно не вносящим квартплату. Без сомнения, это были те же люди, которых приглашали вступать в МОПР и добиваться освобождения Тельмана. Равноценность всех трех призывов, одинаково тщетных, была очевидной. Но в воспоминаниях они излучали спокойный, тусклый свет вечности. Цепляясь за железные прутья перил, мальчик зашагал вверх по торцам лестницы, ведущей на второй этаж, потом сел верхом на перила и съехал вниз на животе, навсегда запомнив ощущение скользкого гладкого дерева в паху. Он очутился снова на площадке первого этажа, перед дверью, подпрыгнул и успел нажать на белую пуговку. Звонок тренькнул, он прыгнул еще два раза. Получилось три звонка, Дверь медленно приоткрылась как бы сама собой, натянулась цепочка, и оттуда на него поглядело такого же роста, как он, старушечье личико. И он понесся, танцуя, по тусклому коридору.

Квартира: ее можно было бы описать языком одних запахов, для этого бы понадобился особый алфавит, где каждый знак обозначал бы запах керосина, запах жареной рыбы,

запах кухонной раковины, запахи корыт, свежестырированных носков, фотографий в комнате Марьи Александровны, запахи тоски и бедности, пыли и света, счастья и надежды, что завтра жить будет еще веселей. Запахи, словно иероглифы древнего исчезнувшего языка, заключили в себе всю эту умершую эпоху; этот язык был точнее всякого другого и понятней любых описаний. Мальчик бежал вприпрыжку по коридору, и запахи кухни оседали в его мозгу, чтобы тридцать лет спустя напомнить о том, каким он был когда-то. Только мелодия может соперничать с запахом, но язык музыки, хоть и знакомый, еще не стал языком души. В конце коридора дверь вела в "наши комнаты".

Наши комнаты! То, что стало анахронизмом, отчего давно отвыкли нормальные люди, евреи повторяют с параноическим упрямством; не в силах отказаться от архаического словоупотребления, они твердят мой дом, в моем доме тем настойчивей, чем меньше их жилье отвечает этому почти религиозному идеалу. Никогда еще в нашей просторной стране не было так тесно. И мальчик не догадывался, каким, в сущности, необъятным подарком небес было то, что он с отцом и две женщины роскошествовали в двух комнатах. Даже в трех, если считать прихожую.

То была крохотная, пестро оклеенная каморка, где двадцатисвечовая лампочка разбрызгивала по стенам болезненный свет. Над головой висели колеса велосипеда, одно колесо всегда покачивалось, доказывая этим факт вращения земли. За линиями занавески помещалась девичья кровать Полины. Из прихожей вы попадали в собственно первую комнату. Тут стоял запах шоколада; его источал темный паркет, натертый воском. Старый диван с двумя вдавлениями, напоминающими ложе для громадного арахиса, — казалось, там отпечатались на нем могучие выпуклости тетки. Буфет, — в его граненых стеклах навеки застыло отражение мальчика с занесенным над струнами смычком. Память обнюхивала вещи одну за другой, как старая собака. Вторая комната, два окна. Кровать, и наконец, он сам, он просыпается, смеясь и подсматривая одним глазом, как отец с вознесенным подбород-

ком, перед крошечным зеркальцем в шкафу, затягивает галстук. Тишина, утро, штопаные гардины, белое небо, и в окне колеблется краешек флага, красный с черной каймой. Траурный флаг, о радость!

Кто-то опять умер. Праздничные, окруженные рамкой газеты. В цветах, обрамленных газетом, с орлиным носом, с коротенькими ручками и высоким животом, лежал на этот раз Орджоникидзе. Кругом вожди. Сейчас они возьмутся все вместе, как они всегда это делают, понесут и вставят его в кремлевскую стену. Мальчик сидел на широком подоконнике в одной рубашке, погруженный в молочные грезы, теребя свою маленькую плоть. Глаза его созерцали пустоту. Мальчик не подозревал, что он воздвиг свой храм над руинами. Он воздвиг бы его и на необитаемом острове, и в городе, охваченном чумой. Ибо чем, как не развалинами, пылью и щебнем рухнувшего мира были все эти вещи, да и люди, беззвучными тенями сновавшими посреди непрочных вещей. Был такой случай. В коридоре стояла тумбочка, укрытая плюшем, его проплешины походили на выжженный мох. Плюшевая накидка так и просилась стать бархатной мантией, — с мечом на бедре, в буденновке, он одновременно изображал всадника Революции и короля Ричарда Львиное Сердце, во всех веках он чувствовал себя одинаково уютно. И он принялся потихоньку вытягивать скатерть из-под телефона. Неожиданно дверца тумбочки вывалилась наружу вместе с замком. Мальчик раскрыл рот. Он сидел на полу среди распавшихся альбомов, рассыпанных открыток... "Ее высококородию". Нет, даже не ее, а ЕЯ. "В собственном доме..." В эту минуту вокруг него валялся мир, разрушенный до основания, на чьих осколках он вырос, точно голубоватый росток в расщелине могильной плиты, и о котором он не подозревал. На этих твердых картонках стоял адрес, их адрес, начертанный тонким и твердым пером. Весь дом с его лестницами и квартирами, черным ходом, парадным подъездом, с трудящимися и Тельманом — был ее собственным, и, вот этот человек, — она была еще жива!..

Однажды он застал ее в уборной. Она стояла там, в темной

старушечьей юбке. Она забыла накинуть крючок. И, о, какой смертельный испуг изобразился на ее лице, в ее глазах, точно он прибежал ее удавить. Костями трясущихся рук она подерживала одежду.

Телефон зазвонил. Он звонил и звонил, но мальчик был занят: наморщив лоб, он отколупывал марку с двуглавым орлом от почтовой карточки. Впрочем, все содержимое старой тумбочки было старательно упрятано, дверца прилажена на место. На голове у него был бумажный шлем с наклеванной красной звездой. Телефон звонил. Полина замешкалась на кухне. Наконец, приоткрылась каморка, первая от парадной двери, рядом со счетчиком. И Марья Александровна, карлик на сросшихся ногах, ее высокородие, вышла в коридор, шаркая и влача на спине, словно гробовую крышку, свой горб. Итак, весь дом, густо заселенный жильцами, был подобен ковчегу уцелевших после потопа: люди, которые двадцать лет назад не могли бы встретить друг друга даже на улице, как морские обитатели не могут встретиться с жителями лесов, теперь оказались в соседних комнатах, снимали трубку одного и того же телефона, спускали воду в одной уборной и бок о бок, как равные, стояли на кухне возле злобно шипящих примусов.

ПАССАЖИР СОБСТВЕННОГО ТЕЛА

Однако, следовало бы уделить внимание и отцу мальчика и обозреть вещи, так сказать, с противоположной точки. Сопоставление взрослого и ребенка всегда содержит элемент нарочитости, невинность детства, воспринимаемого как анахронизм, очевидным образом вызывает к снисхождению, быть может, даже к состраданию. В партии с ребенком полагается снять ладью, если не ферзя. Но на самом деле в сострадании нуждается взрослый, и еще неизвестно, кто кому должен дать фору.

Проснувшись за минуту до звонка, Илья Ильич чувствовал себя усталым, точно день, предстоящий ему, был уже прожит. Нет, не прожит — отбит, сброшен с ног, как забрызганные

грязью калоши. Эти калоши будут ждать его всю жизнь: каждое утро — один и тот же мутный, неотличимый от вечера рассвет. Мысль о том, что надо идти на работу, тоскливое чувство безвыходности, то, которое через тридцать лет станет обычным ощущением миллионов людей, это чувство подавило в нем все другие чувства и мысли. Он лежал — или уже сидел, это все равно, — с видом человека, у которого переломан позвоночник. Конечно, это чувство уйдет, уступит место деловым заботам, мужскому чувству достоинства и мистическому сознанию долга. Будильник загремел под ухом, как мотоцикл. Объятый ужасом, Илья Ильич задавил его, дрожа от внезапного сердцебиения. Мальчик спал, по своей привычке, на животе, закинув руки на подушку.

В соседней комнате ходила Полина. Дальше все происходило в гипнотическом и все убыстряющемся полусне-полубодрствовании. Не он — его тело — боялось опоздать, торопилось и тормозило безучастный мозг. С намыленной щекой Илья Ильич уставился совиным взором в зеркало. Звук жестяной трубы ненадолго вывел его из забытья. Остаток пионерской зорьки пошел на умывание. Чай — или что там. И уже одетый, в кепке и брезентовом плаще, он метался по комнате, забыв что-то сделать, что-то положить в портфель.

И, наконец, калоши. Волшебные сапоги: стоило ему вклотить в них ноги, как они вынесли его на улицу. Улица подхватила его под руки. Вбежав в комнату, Полина всплеснула руками, найдя недоеденный завтрак. Радио заорало "На просторах родины чудесной". Поток пешеходов нес Илью Ильича к остановке. Город встретил кругами луж, в окнах домов еще горел свет, трамваи шли друг за другом, то и дело останавливаясь и отчаянно звоня, люди гроздьями висели на подножках. Толпа сомнамбул заворачивала с площади в узкий, темный, как ущелье, Фуркасовский переулок, слышалось упорное, торопливое и безостановочное, как дождь, чмоканье калош, кирзовых сапог, дамских бот. Одно стремление владело всеми этими людьми — скорей вломиться в подъезд, снять номерок, втиснуться в лифт, доехать, добе-

жать! Скользнуть в углубление между стулом и письменным столом и успеть протянуть руку к костяшкам счет, прежде чем раздадутся роковые три сигнала точного времени.

Илья Ильич шагал по коридору. Шагал не он, шагало его тело, но уже совсем другое, бодрое и упругое, оно помахивало папкой для деловых бумаг. Сзади и спереди шли сослуживцы, все шагали в одном направлении. Гуськом входили в кабинет начальника главка.

Одни бывали в этом кабинете каждый день, другие раз в месяц; иные еще реже, но сегодня все чувствовали себя уравненными перед грозным накатом событий. Таинственная и будоражащая новость, хотя никто о ней не говорил, никто не показывал виду, что догадывается о ней, распространилась мгновенно, может быть, потому, что к ней уже были внутренне готовы — в сущности, ее ждали. И в толпе, входившей с почтительной робостью, со сдержанным достоинством, не спеша и не мешкая, по стенке, с папками под мышкой, единственная цель которых была показать, что никто ни о чем, кроме как о делах, не помышляет, в этом шестии честных, прямодушных тружеников, высматривающих местечко где-нибудь не на виду, не было сейчас ни старших, ни младших, не было приятелей и врагов, Анны Ивановны и Ивана Степановича, не было даже мужчин и женщин; все старались походить друг на друга, мужчины потупляли глаза и, сами того не замечая, поджимали губы и покачивали бедрами, женщины шагали размашистой походкой, подняв плечи. Все превратились в кого-то промежуточно-безупречного и стоящего вне подозрений. И толпа стала одним человеком. Этот человек дисциплинированно входил, рассаживался, устремлял глаза вперед. Он изображал внимание, одобрение, ошеломление, непреклонную решимость и праведный гнев — а на самом деле ничего не чувствовал: ни гнева, ни решимости, наоборот, был доволен, что ему ничего не надо решать.

В этом коллективе, который представлял собой уменьшенное изображение народа, застигнутого врасплох в его "исторический" час, — мы бы сказали: "псевдоисторический",

— как-то само собой установилось, что подлинная жизнь, состоявшая в том, что все эти женщины изо дня в день поднимались на рассвете, разжигали примуса, бранились с соседями, тащили в ясли сонных детей, изо дня в день мыли и стирали, толкались в магазинах, мучились от кровотечений, смотрелись в зеркало, ревновали мужей, словом, жизнь как она есть — здесь не имела значения и даже скрывалась как нечто недостойное народа, ежедневно рапортующего о своем счастье и желании трудиться еще лучше. Высокие чувства неуместны в очереди за картошкой, они не согласуются с трехзначным номером, намалеванным чернильным карандашом на ладони; и невозможно рапортовать, стоя над корытом. И вот теперь, эти женщины и мужчины, тридцать или сорок человек, пожилые машинистки с карминовыми губами, рыхлые кассирши, лысые бухгалтера, все они точно выставили перед собой громадный портрет, загородивший всех. И это картонное молодежливое лицо с собачьей преданностью, выпученными глазами смотрело на начальника, секретаря парторганизации и еще одного человека, сидевшего в углу, и готовилось картонными губами прошелестеть единодушное одобрение, единодушный гнев, картонной рукой отхлопать резолюцию, с готовностью открывало рот, чтобы затянуть "Интернационал" или там "Широка страна моя родная", готово было даже сплясать вприсядку, выбрасывая картонные ноги, если бы того потребовали обстоятельства. При всей своей мнимости и бестелесности этот человек-плакат обладал поразительной сметкой, всегда чувствовал, чего от него хотели, и моментально принаравлялся к обстановке.

Начальник главка сидел за массивным письменным прибором, высеченным из базальта. Две чернильницы с крышечками из желтого металла напоминали крепостные башни. За спиной у начальника знамя, распяленное на гвоздиках, хранило застоявшийся запах революции. Над ним висел в строгой рамке Товарищ Сталин.

Но сам начальник выглядел неважно, это был изможденный, изжеванный жизнью человек с высосанными бессонницей глазами. Темносиний полувоенный китель казался слиш-

ком просторным для его костлявых плеч. За торцом стола, боком к присутствующим, сидела секретарь партийной организации, молодая женщина в белой блузке с просвечивающимися бретельками лифчика. Она была только что назначена вместо прежнего, исчезнувшего неизвестно куда секретаря, и ее никто еще не знал.

"Товарищи! — с погребальной прямоотой произнес начальник. — На нашем сегодняшнем, внеочередном... — он постепенно удлинял расстояния между словами, — совещании присутствует товарищ... — Тут начальник неловко встал и, поклонившись в угол, промолвил: — Иван Акинфиевич, пожалуйста!"

Фамилия, которую он назвал никому ничего не говорила, она была какая-то средняя, среднестатистическая, подчеркнуто невыразительная, точно условная кличка или газетный псевдоним; но именно эта безликость придавала ей особую и глухую значительность. Немалый смысл заключало в себе и имя. Короткое, обрубленное и по-рабочему простое в сочетании с громоздким крестьянским отчеством, оно указывало на глубокую почвенную связь с народом — и притом с русским народом.

Товарищ из горкома партии встал и со скромностью, не терпящей возражений, отстранил предложение занять место за столом. Он ограничился тем, что взял стул и повернул его спинкой к себе.

"Я, т-аищи, кратенько".

На нем была защитная гимнастерка политического руководителя — правда, не высшего ранга, не было накладных карманов, но все же. /Начальник главка был всего только в синем кителе хозяйственника./ Вообще, все в Иване Акинфиевиче было продумано до мелочей. Лицо его было среднее — достаточно молодое и в то же время бывалое. Лыдистые глаза не заключали в себе никакой мысли, но выражали некое важное знание о жизни. Всем своим видом он показывал, что сам по себе он ничто /когда потом ему аплодировали, он аплодировал сам/. Но его светлыми глазами смотрели другие товарищи из горкома, смотрела партия, его крепким воен-

ным голосом говорила идея, которая была выше всех людей, и потому он был — все. Взявшись правой рукой за ремень гимнастерки, левой опираясь на спинку стула, он застыл, и этот жест был подобен команде "смирно". Все застыли. Начальник главка мрачно ссутулился за столом. Секретарь, напротив, выставила грудь. Все смолкло, и голос Ивана Акинфиевича, крепкий и хрустящий, как кожаный ремень, ритмично сотрясал воздух.

"Как вы уже знаете, — начал он, — из газет, наша партия, лично товарищ Сталин, весь советский народ... Враги хотели..." И он развернул перед собравшимися картину борьбы пролетариата с остатками эксплуататорских классов. Стальные фермы экономики и политики, вот истинная суть жизни, все остальное лишь придаток к этой основе и обманчивая внешность. Люди только делают вид, что живут своей жизнью, на самом же деле влекутся, как песчинки за волной, покорные своим классовым интересам. Мир прост. Два стана, два класса стоят друг перед другом, склонив каменные головы, как быки.

Голос оратора хрустел, подкрепляемый энергичным жестом, но все понимали, что эти рассуждения — лишь предисловие. Сейчас он скажет главное. И он сказал. Его фразы стали предельно короткими. Он уже не говорил, а как будто раскачивался под потолком. Раз — раз. Взмах, другой. Товарищ Сталин — доблестные чекисты. Максимальную бдительность — при подборе кадров. Темп убыстрялся, толпа сидящих, задрав головы и поворачивая глаза то влево, то вправо, с замиранием сердца следила, как он носится под потолком. Вдруг он умолк, повернулся к знамени и портрету и поднял слегка расставленные руки. Тотчас все отчаянно зааплодировали, и он сам, с каменным лицом, сдержанно похлопывал в ладоши.

Начались выступления. Парторг, поправив бретельку под блузкой, перебрала лежавшие перед ней бумаги. Потом вдруг громко, страстно заговорила, поправляя то волосы, то бретельку, о том, как она потрясена всем случившимся. Теперь было ясно, куда делся бывший секретарь, — о чем,

впрочем, догадывались, — и ждали, что вот сейчас она скажет, что вражеская агентура протянула щупальцы и к нашему главку. За примерами недалеко ходить и т.д. Но секретарша в своей речи, хотя и горячей, ничего лишнего, то есть нового по сравнению с товарищем из горкома, не сказала. Все поняли, что ни бывший секретарь, ни другие имена не должны быть называемы по той простой причине, что их никогда не было, и все разоблачение именно в том и состоит, что все должны знать: их не было. Под конец слезы в голосе секретаря парторганизации высохли, он окреп и зазвенел. Она села.

Аплодисментов не было: необъяснимым чутьем нарисованный человек понял, что хлопать еще не время. Да и Иван Акинфиевич из горкома не хлопал.

Медленно встал начальник главка и одернул китель, как в иные дни одергивал гимнастерку на митингах гражданской войны. Воздел кулаки. Глаза его, окруженные тенями, мерцали лиловым огнем.

"Суровая пролетарская кара..."

Тут он как-то некстати задумался, начал шарить руками по столу, искал забытое слово. Наткнулся на стакан с остывшим чаем. Потом голова его стала запрокидываться, лицо поехало на сторону, и с коротким всхлипом начальник повалился навзничь.

Все очень удивились. Начальник бился на полу, пожилая медсестра дрожащими руками расстегивала на нем китель. Кто-то побежал за водой, хотя чай стоял на столе. Над ним махали газетами, потом несли больного по коридору и по лестнице вниз. Было известно, что он болен, — результат контузии, — но уж очень не вовремя все это произошло. А может быть, наоборот: в самое время. Знал ли он, что и его часы добивают последние дни, что через каких-нибудь две-три недели он присоединится к тем, кого не было? Собрание закончилось. В опустевшем кабинете уборщица ползала с тряпкой под столом: больной обмочился. Иван Акинфиевич отбыл. Его автомобиль, урча, катил по переулку. Ему предстояло еще выступить в трех местах — двух главках и одном научном институте.

Илья Ильич вернулся на свой этаж, вошел в комнату

№ 312 и сел за стол у окна, на свое место.

За окном был двор, узкий каменный двор учреждения: грязные окна, грузовик. Рабочие разгружают ящики, ставят их прямо в лужу перед крыльцом. Их лица выражали безразличие ко всему на свете.

Стол Ильи Ильича, как старшего в этой комнате, помещался с одной стороны, а с другой, стол за столом, сидели, словно ученики за партами, сослуживцы. Горел свет. Трещали арифмометры, изрыгая сгустки цифр. И эти цифры, которые когда-то были чем-то вещественным, деньгами или килограммами, накопленные трудом ли, обманом, но всегда в обмен на человеческую жизнь, человеческий пот, ум, изворотливость, — здесь отброшенные на счетах и прокрученные через арифмометр, теряли плоть, чтобы обрести символическое потустороннее существование. Беззвучными потоками, в дыму дешевых папирос, они текли и текли, как толпы умерших в загробное царство, из отчетов в ведомости, из ведомостей в сводки, чтобы потонуть в пропасти учета, превратиться в дым, в пар общих суммарных показателей. Предполагалось, что кто-то там, наверху, питается этим дымом. Но что могли сказать эти пустые оболочки, эти сухие скорлупки, что могли они сказать о жизни? Каждый день видишь перед собой ряд склоненных голов, сутулых спин, черные нарукавники и пальцы, летающие по счетам. Если эти каторжники задумываются когда-нибудь над смыслом своей работы, что маловероятно, то во всяком случае каторжниками себя не ощущают: не догадываются, кто они на самом деле. Чтобы иметь терпение каждый день вот так садиться за столы и порхать рукою по счетам, нужно хотя бы подсознательно хранить веру в то, что твоя работа имеет какой-то общий смысл. Вот дождь за окном — это что-то реальное. И рабочие, хоть им и наплевать на все, в сущности живут куда более содержательной жизнью, чем он, вся работа которого состоит в том, чтобы нагромождать одну абстракцию на другую, да еще делать вид, что приносишь пользу народу и государству. Что такое государство, как не величайшее учреждение, величайшая абстракция?

Но, может быть, все дело в привычке, в усыпляющей мо-

нотонности существования, к которой бессознательно стремятся люди и которая сама по себе цель и награда? Спроси сейчас у этих людей: для чего вы тут каждый день сидите в папиросном дыму? какой смысл в вашем сидении? Они ответят: смысл в том, чтобы получать зарплату и снова сидеть, а иного нам не нужно. И этот ответ лучше всяких рассуждений выразит истину. Ибо люди жаждут замкнутости. Как они предпочитают сидеть в теплой комнате, а не мокнуть на улице под дождем, так и в своей жизни они хотят отгородиться от внешнего мира. Как те, кто пришел с совещания, стараются поскорее забыть все, что они там слышали, как они там все были проникнуты одним чувством, единодушным сознанием, что они ни при чем, что они — ни словом, ни духом, что они маленькие люди, ничего не знают, ничего не видели, и, слава Богу, отважным чекистам, латникам и соратникам, нет до них никакого дела, — так и все люди жаждут замкнуть свою жизнь в узкий круг и свести свою деятельность к однообразной череде обрядов, над которыми им не надо задумываться, смысл которых им в сущности безразличен. Все равно как если бы они переписывали изо дня в день книгу, написанную на непонятном языке.

Пальцы Ильи Ильича быстро выхватывали из папок нужные листки, вращали ручку арифмометра, он вставал и выходил к плановикам выверять сальдо, просил принести ему сводку за октябрь, рука его снова крутила ручку, он подписывал ведомости, словом, делал тысячу привычных дел, но его руки, глаза, все его тело давно уже научилось обходиться без него самого. Сам он сидел внутри себя и думал свое. Был аккуратный работник, неглупый человек, на своем месте. И был другой, тревожный и раздраженный, даже не человек, а зловещий эмбрион без рук и без ног, который только и способен был все критиковать, во всем находить бессмыслицу, который был враг всему, но, слава Богу, никто его не видел. Это он, когда наступил обеденный перерыв, встал вместе со своим хозяином и вместе со всеми повлекся по коридору, сверлил, как зубная боль, мешал перебраться привычным словечком с Анной Ивановной, с Иван

Степаньчем, он пронизал все тело смутной тревогой; нет, он ничего не доказывал, ничего не предлагал, так было и так будет, шептал он, и ни на что иное ты неспособен; юношей ты оставил родной угол, белорусское местечко, кладбище, где лежали поколения твоих предков, Шапошников, портных, музыкантов, ты бросил все, тебя унес свежий ветер, тебя тянуло в большой город, ты бросил все и полетел. И что же? Твоя жизнь обернулась затхлой конторой. Тебя завели, и ты качаешься, как маятник, пока не иссякла пружина. Взад — вперед, домой — на службу.

Впереди шли две девушки, должно быть, продавщицы из магазина писчебумажных товаров, что на углу. Толпа уже теснилась перед входом в столовую с крутящимся вентилятором, исторгающим раздражающий запах подливки. Они встали в очередь. У девиц были простоватые широкие лица, и то, что светилось в их ярких глазах, отнюдь не было мыслью, то, о чем они болтали, был сплошной вздор. О тряпках, о какой-то Марусе. Но Илье Ильичу казалось, что дело совсем не в словах. В конце концов, сказал он себе, ради чего все это: смех и ужимки, и блеск глаз, и полнота бедер под наброшенными на плечи пальто? Чтобы понести живое семя, зачать и родить ребенка. А они, сидящие за столами контор, что они производят? Пыль цифр, канцелярские бумаги. Вот для чего они каждое утро втискиваются в трамвай, лезут в лифт, сладострастно накручивают арифмометры. Цифры — их семя, которое они извергают на разграфленные листы бумаги...

Мальчик открыл глаза в ту минуту, когда дождь за окнами прекратился: как будто Бог детства провел ладонью по его лицу. Он был один и, взобравшись на подоконник, следил за прохожими острым заспанным взглядом. Домашний лар, чревоуещатель, тщетно взывал со шкафа, пытался завлечь музыкально-образовательной передачей. Натянув рубаху на голые колени, мальчик смотрел в окно. Влага еще висела в воздухе. Прохожие торопились с зонтиками.

Брызнуло солнце, и стальная синь тротуара позвала к себе так, как только можно звать в детстве; старый кирпичный

дом наискосок, где кончался переулок, порозовел и зажегся, все его окна засверкали, прохожие спешили обнять друг друга. На углу возле почтового ящика молодой нарком Ежов стоял в ежовых рукавицах, а рядом с ним насквозь промокший Ворошилов в остроконечной шапке сжимал в руке винтовку с широким штыком, похожим на кухонный нож. "Климу Ворошилову письмо я написал", — сказал мальчик, четко произнося слова.

Еще капало, еще струилось из водосточных труб; из их широких, как писсуары, раструбов текла на тротуар жидкая синька, текло серебро; и Надька, дочь дворника, вышла плясать босиком в лужах. "Та-чить ножи-ножницы, бритт-вы править!.." — запел, дрожа от счастья, голос точильщика со двора. В эту минуту с высот от повернувшейся где-то ставни сорвалась молния и ударила мальчика в глаза. Перед ним на солнечном мокром плакате нарком Ежов простирает руки в ежовых рукавицах. Лар пел: "Потому что у нас каждый молод сейчас!" Какое счастье, Боже мой, какое счастье жить!

РЕЧЬ ВОЖДЯ И ДРУГИЕ НОВОСТИ

Под флагом командующего эскадрой, развернув паруса, головной корабль преодолел узкий пролив и вышел в открытое море. Ударили пушки. Оркестр грянул адмиральский марш. Отец стоял возле буфета. Внезапно он сказал: "Т-сс!" и приложил палец к губам. Репродуктор был переставлен на буфет, где во время занятий музыкой помещались ноты, и там, в этом репродукторе, происходило что-то великое и важное, по сравнению с которым мир мальчика был всего лишь радужный мыльный пузырек, плывущий по воздуху.

Он удивился. Из рупора исходил неопределенный шум — плеск или треск, похожий на хлопанье крыльев потревоженной стаи. Постепенно шум утих, слышны были еще отдельные хлопки, затем все смолкло; отец приник к рупору ухом; и вдруг оттуда послышалось бульканье. Отец улыбнулся таинственной улыбкой. "Воду наливает, — шепнул он. — Из графина..." Мальчик ничего не понял, он не постигал причину этой

торжественности, но настроение папы передалось ему: оба, как заговорщики, затаив дыхание, переводили блестящие глаза с репродуктора на лица друг друга. Почти неуловимый, шелестящий и струящийся звук истекал с иглы репродуктора, воспринимаемый уже не слухом, а всем мозгом, — так шелестит ток в проводах над мачтами высоковольтной передачи. Затем раздался очень тихий, но отчетливый звук, и мальчик догадался, что Тот, невидимый и непостижимый, тот, который налил себе из графина, — пил воду по ту сторону передачи. Пил, как обыкновенный человек, маленькими глотками, точно не знал, что каждый его звук разносится по всему свету. Потом тихонько поставил стакан. Мальчик стоял, задрал голову к старому буфету. На полу стояли его бумажные корабли.

И весь мир, застыв у репродукторов, с тайной, благоговейной улыбкой слушал, как он там булькает водой из графина. Весь мир был тронут и восхищен простотой, будничностью, естественностью, с которой величайший на земле человек пьет обыкновенную воду и, должно быть, отирает усы краешком пальца, точь-в-точь как какой-нибудь пожилой слесарь или бухгалтер. По-народному неторопливый, по-народному пристальный, просто так стоит на трибуне, навесив брови, поигрывает стеклянной пробкой от графина.

Так люди во всех углах страны, в жалких своих комнатухах, вдруг постигали в простом бульканье воды, в напряженной тишине невидимого зала и потустороннем шелесте эфира, истекающего из репродукторов, сверхъестественную суть вождя. Эту суть не выражали его портреты, на которых вождь был изображен красивым и юным, с радостным взором, молодой шевелюрой и литыми усами. Гораздо больше эту суть выражал его голос: она заключалась в том, что он был и молод, и стар одновременно, и мудр, и прост, как его сапоги. Думая за всех, наперед зная мысли каждого, он не хвастал своим всезнанием, не гордился перед людьми и не спешил высказаться. Медленно пил воду из стакана. И когда наконец начал говорить, то говорил самое главное, да так, что каждому было понятно.

Один мальчик не понимал. Сбитый с толку, он смотрел на отца. Он слышал, как голос, глухой и невнятный, сказал, что он не собирался выступать, но наш дорогой Никита Сергеевич силком притащил его на собрание. "Скажи, говорит, речь..."

О чем же говорить? — спросил товарищ Сталин. И ответил: не о чем. Все необходимое сказано в речах наших руководящих товарищей. И мальчик думал, что на этом он кончит. А вместо этого пошла какая-то невнятица. Голос монотонно и как бы нехотя выдавливал из себя слова. Куда интереснее было слушать, когда он наливал воду. Время от времени репродуктор сотрясали аплодисменты. Значит, люди, сидевшие там, находили в этой речи какой-то смысл. Но какой? Отец слушал, приоткрыв рот, голос чревовещателя, выражение напряженного ожидания не сходило с его лица. Мальчику стало скучно. Товарищ Сталин говорил долго. Он устал ждать. Собрав корабли, он побрел потихоньку прочь.

Мальчик пробудился с чувством случайной помехи, из-за которой не стоило просыпаться: отвернись — и назад к себе, в теплый сон. Но помеха не отступала, его словно трясли за плечо, и перекатившись с живота на спину, мальчик заморгал, открывая глаза.

Но сейчас же кто-то подошел к двери; сердце его затрепетало, он зажмурился, стиснул зубы и замер, боясь шелкнуть и уже зная, что за дверью происходит что-то необычное, разоблачительное и роковое.

Его разбудили не голоса, а молчание: тишина, наступившая там, заставила его открыть глаза и насторожиться; он ощущал ее, словно запах гари, — и в ней как будто еще висело эхо слов, звучавших пока он спал.

Там шла тайная жизнь взрослых, беззвучная, как жизнь рыб за толстым стеклом. Там звучало полным текстом то, что он безуспешно старался угадать по движениям их губ, беглым взглядам или случайно оброненным словам. Там происходили события, о которых он не имел понятия. В самом деле, за дверью раздавались шаги, это ходил отец. Эхо слов висело в воздухе, но больше — ни звука сквозь трещину света, бес-

конечно долгое молчание за дверью, точно они хотели проверить, действительно ли он спит. Шаги отца.

Голос тетки проник сквозь щель:

"Никогда ни с кем не считался!.."

Он угадал ее жест, она сидела за столом под ярко-брызжущей лампой, как это бывает очень поздним вечером, когда свет брызжет в глаза, и бесконечным однообразным движением разглаживала скатерть, он почувствовал жжение в кончиках пальцев от накрахмаленной скатерти. Сидела и говорила одно и то же:

"Что ж, можешь поступать, как тебе угодно! Ты ведь никогда ни с кем не считался. На всех наплевать!.. Как-нибудь обойдутся!.. Никогда ни с кем... Бывало, еще покойная Розочка..."

В ответ раздавались шаги, туда и обратно, и снова туда, и снова обратно, и мальчик увидел лицо отца: нахмуренное, окаменевшее, с таким лицом отец умножал трехзначное число на трехзначное. Он славился необыкновенным умением считать в уме и поражал этим умением Полину, тяжело трудившуюся с намусоленным карандашом над тетрадкой расходов. Поворот у стены, где еще виднеются на обоях пятна клея, следы теткингого портрета с рогами. Теперь лицо отца приближалось. С гордостью мальчик вспомнил о том, что они одинаково с ним стаптывали ботинки — с внутренней стороны. "В аккурат" /как говорила Полина/ одна и та же форма ноги.

Пятна клея еще желтели на обоях, а тетка как будто позабыла про всю их старинную вражду.

"Хоть бы подумал о..."

Это о нем.

"Ты думаешь, он все забыл?"

Голос отца возразил с холодным бешенством. С небывалой резкостью:

"Ребенка оставь в покое! Как-нибудь сам о нем позабочусь!"

И снова тетка — с истерическим всхлипом:

"Что сказала бы покойная Розочка!"

Да как она смеет. Почему он позволяет ей так говорить? Без конца вспоминать имя матери, которое они оба никогда не произносили, не осмеливались произносить вслух! Мальчику это казалось кощунством. Что-то в их голосах, в мрачном шагании отца, в позднем, недобром, раздражающе-ярком свете было такое, что наполнило его неясной тревогой. В засекреченной жизни взрослых созревало что-то зловещее, нет, это была не обычная ссора. И ему захотелось, пока еще не прозвучали последние, окончательно все проясняющие и непоправимые слова, захотелось выскочить из-под одеяла и предстать перед ними. Услышать: "марш в постель!" и "как не стыдно подслушивать!", услышать: "она его совершенно разбаловала, ума не приложу, что делать с этим ребенком", услышать что-нибудь обыкновенное, нормальное, что он знал наизусть и из чего следовало бы, что мир не изменился, и все осталось по-старому. И чтобы все это кончилось, чтобы за-были.

Вместо этого он напрягся еще больше, так что заныли колени и стали зябнуть пальцы ног. У него чесалось под подбородком, между ногами, между лопатками. Вдруг зачесалось все тело, зачесались кишки! Но главное так и не было сказано, он не дослышал самой сути, и бог детства, вечно суетившийся возле него, напрасно подзуживал показать им, что он не спит: какой это был бы эффектный выход! Они бы так и ахнули. Мальчик не шевелился. Он и понял — как это часто бывало с ним — смысл разговора, и в то же время не понимал, о чем собственно они говорят. О ком?

Голос тетки:

"...можно вышвырнуть. Со старой, ненужной сестрой... чего с ней церемониться... За бабьей юбкой..."

Шаги. Молчание. Желтый свет, от которого першит в носу.

"...а меня вышвырнуть за дверь. Чего со мной церемониться!"

Отец — не переставая шагать:

"Ты переедешь туда. Прекрасная комната, лучше этой".

"Еще бы! Вы все предусмотрели. Но я ее не виню, а! В ее положении... Но ты!.. Хотя бы посоветовался с родными..."

Родные зла не желают... И что это за специальность, машинистка, Господи... Где она хоть работает, ты знаешь?.. Преступное легкомыслие... не думать ни о себе, ни о родных... Наконец, о сыне... Ты думаешь, он тебя поблагодарит? Ведь он уже большой, и Розочку он помнит, в отличие от тебя..."

Откуда она знает, подумал мальчик. Откуда она знает, черт бы ее побрал!

Нет, отец прав, что хочет ее выселить.

"Разве такая женщина... нет, это выше моего понимания... А ей что, ей бы только переменить фамилию!"

Она снова упомянула о какой-то юбке, затем полилась каша неразборчивых слов. Тетка не успевала выговаривать их, и они липли к ее губам, мешаясь со следующими.

Вдруг она понизила голос, и он зазвучал со зловещей отчетливостью:

"Я, конечно, ее не виню. Годы идут, все такое... Интеллигентный мужчина, не какой-нибудь там Афоня-квас... Но подожди, подожди! — Голос тетки зазвучал вкрадчиво, почти игриво. — Она еще напомнит тебе, кто ты такой. Все до первой ссоры. И она тебе скажет: жид! Иди прочь, жид порхатый, вот что она тебе скажет. Жид! — со сладострастием повторила тетка это страшное, липкое слово, неизвестно что означающее, но, очевидно, имевшее к ним близкое отношение и притягивающее, как все тайные и запретные слова.

"Подожди, — зловеще-участливо приговаривала тетка, — еще дождешься. Еще вспомнишь сестру твою, дуру..."

Трах! — ударом ладони по столу отец прервал эти литании. Он заговорил быстро и неразборчиво, гудящим шепотом. Послышались всхлипывания тетки. Дверь стремительно растворилась; отец вошел и, видимо, не зная, что предпринять, быстрыми шагами подошел к окну. Несколько минут он глядел на пустынную улицу, освещенную фонарями. Мальчик замер, затаив дыхание до звона в ушах. Наконец, он перевел дух, веки его затрепетали и глаза открылись против его воли; отец взглянул на него, отвернулся и вышел из комнаты.

Старый бог детства, с длинной бородой, похожий на обокраденного апостола, рвал на себе волосы и потрясал в темно-

те кулаками. Он один был во всем виноват! Он недоглядел!

Наступила ночь; фонарь, качаясь под ветром, шевелил занавеску; отец спал на широкой кровати; мальчик, зажмурившись, сидел у стены и говорил, бормотал, заклинал. Полина, босая, в длинной рубашке, замятой снизу, стояла за дверью и дула в замочную скважину, чтобы отогнать дурной сон. Это удалось ей после долгих усилий; мальчик умолк и опустил на подушку. Через несколько мгновений вновь затрепетала занавеска: сон влетел в форточку и, обессиленный, уселся на полу возле отцовских носков и ботинок. Ночь была тихой, чудной. Свет струился сквозь занавеску. Мальчик спал, раскинув руки на подушке, лицом вниз. И сон, мерцающий огоньками зеленоватых очей, сторожил его на полу, распластав в полутьме отсыревшие крылья.

ПОЛУНОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Город угомонился, и настала тишина, какой еще никогда не было. В конце длинного, как коридор, переуллка бесшумно прошмыгнул черный автомобиль. Душераздирающе мяукнул кот, послышалось царапанье когтей по толевой крыше старой деревянной пристройки, в которой дворник держал скрепки и метлы. И снова все стихло. Вдоль всей линии домов, светлых внизу и темных сверху, черными тряпками на палках свисали флаги. Из черной тарелки напротив двух окон первого этажа, за которыми жил мальчик, падал на мостовую широкий конус света. Все спало, все оцепенело, и только бог его детства, дремучий старик, у которого росли отовсюду волосы — из носа, из ушей и из-под фетровой шляпы, — старик в лапсердаке, обутый в валенки, чтобы не простудиться, сидел на табуретке перед парадной дверью, под флагом, откашливался и шаркал на весь переулок, растирая плевков. Потом раздалось ритмическое поскрипывание, прерываемое еле слышными возгласами, — старик пел молитву, раскачиваясь на табуретке.

И сейчас же из-за угла донесся глухой катящийся звук. Выехал некто широкоплечий, в военной фуражке грибом. А старец в это время прочищал ноздри в огромный платок,

который он внимательно разглядывал, — он-таки простудился, — и на вопрос, заданный ему, ничего не ответил, а ограничился тем, что ткнул раза два через плечо большим пальцем. Приезжий стал втискиваться в парадное.

Давно все потухло и умерло в квартире, жильцы, сколько их было, лежали все по своим комнатам. В уборной затихал шум воды, журчало в бачке, да еще на кухне робко бежала вода из крана. И, кряхтя, елозили тряпкой под раковиной и медленно шаркали в коридор и возвращались, забыв что-то. И опять шаркали, влача на спине, как крышку от гроба, горб. Пискнула дверь. Марья Александровна, коммунальный домовый, в вязаной кофте поверх ночной рубашки, маленькая и сухонькая, с косичкой, торчащей из впадины на затылке, с большим ртом, вошла к себе в каморку, где на стенах сверху донизу мерцали, поблескивали стеклышками фотографии. Окно было задернуто. Комнату освещал фитилек, горевший в углу перед киотом в лампадке зеленого стекла. И два таких же тусклых, оцепенелых огонька теплились в ее взгляде, пока она сидела на кровати, охваченная забвеньем, свесив ноги в старых домашних туфлях.

Ей давно уже казалось, что кто-то вставляет ключ в замочную скважину. Вставляет и пробует повернуть. Внезапно она вспомнила, что забыла накинуть на ночь цепочку. Жильцы такие беспечные! Кроме нее, некому позаботиться. Давеча, выходя в уборную, она проверила запоры, но сейчас сомневалась, было ли это минувшей ночью или этой. А там все тыкались ключом, примеряли его так и эдак. Она слушала, замирая от страха, боясь встать и пойти накинуть, пока еще не вошли.

Наконец, она набралась храбрости. Приподнялась с подушек, сама не помня, когда она успела лечь. Огонек все так же сверкал в углу перед киотом. Марья Александровна поплелась, ныряя сухой головкой, через комнату, вышла в коридор: слава Богу цепочка была надета. Снаружи все стало тихо. Успокоенная, она потащилась обратно, точно старая домашняя черепаха. Огонек мигнул ей навстречу из далекого девичьего детства.

Какая длинная жизнь! Лет до шестнадцати, до восемнад-

цат и она еще надеялась, что Бог пошлет ей жениха. Признаться ли? Ведь у нее все-таки был поклонник, длинный, долго-вязый мальчик чуть ли не вдвое выше ее, в очках, вот только никак она не может вспомнить, ограничилось ли поцелуем, а все остальное она выдумала, или было на самом деле? С удивительной ясностью она помнила разрозненные подробности, но общий смысл ускользал. Как странно, ведь она ни разу в жизни не была у врача и так и не знает, случилось ли это на самом деле или она себе насочиняла. Из этих крошечных подробностей, из двух-трех слов, из завитушек на бумаге, из того, что она сидела перед зеркалом с распущенными волосами, из безумной решимости и пустых, наполненных ожиданием дней, из ничего она сочинила роман своей жизни, и в него вошла вся Москва тех лет, так что нечего и пытаться узнать, был ли мальчик в очках настоящим его героем или только поводом для мечтаний. Потом как-то очень быстро она смирилась со своей судьбой, хотела идти в монастырь, но поняла, что это в сущности не нужно. И как только почувствовала, что смирилась, все ее тело удивительно скоро увяло, превратилось в кубик, торчащий острыми гранями вперед и назад, и рот стал шире, и только ноги остались такими же красивыми и стройными. Она скрывала их под длинными черными платьями. На голове у нее в те времена красовался высокий, тронутый сединой шиньон. Она походила на важную директрису в пансионе для гномов.

Поздно, поздно! Сейчас она ляжет в свою кровать, — встанет ли? Кажется, Толстой писал на ночь: если буду жив. Если буду жива. Ах, о чем беспокоиться. Господь позовет, когда сочтет нужным. Слышно, как вода медленно капает из крана. Она уже лежит. Вот так, в ямке под горою подушек; какая, однако, отсыревшая простыня, как сыро сделалось в этом доме, этак и насморк схватить недолго. Сухая голова Марьи Александровны погрузилась в подушку. Подбородок уперся в грудь. Если буду жива. Отче наш, иже еси... И как раз в ту минуту, когда ее помертвелые девические губы, едва шевелясь, прошептали последние слова молитвы, — настойчивость того, кто с бесконечным терпением

примерял ключ к замочной скважине, увенчалась успехом. Очнувшись, она отчетливо услышала, как дверь отомкнулась. Она не успела, да и не смогла бы ничего предпринять. Кто-то с мягким стуком ввалился в коридор.

Темной ночью, особенно глухой и темной оттого, что плотно задернутая штора отгородила ее от всего мира, далеко за полночь Марья Александровна, в ночной рубаше и кофте, с плотно сжатым лягушачьим ртом, с расширенными от страха глазами, держа в руках икону, сидела на кровати, составив окоченевшие ноги на скамеечке, готовая ко всему. Она лишилась речи и не могла позвать на помощь. Первая ее мысль была, что ее пришли арестовать. Значит, некого было и звать на помощь. Но почти сразу же стало ясно, что это кто-то другой. Медленно, пожалуй, слишком медленно растворилась дверь, точно к ней входил призрак; всколыхнулись тени, и это как-то помогло ей, отвлекло внимание: машинально оглянувшись в угол на лампадку, она с удивлением увидела там не лампадку, а свечу, правда, дешевую и недоброкачественную, как все теперь, но все же в комнате от нее было гораздо светлее. Она поразилась своей забывчивости. Итак, дверь в ее комнату открылась, и в ней показалась человеческая фигура, впрочем, даже не человек, а полчеловека. Въехал инвалид на роликах, голова без шеи, он сосредоточенно работал могучими плечами. На нем была старая николаевская фуражка без кокарды. Шинель крест-накрест перетянута веревками и подвернута вниз. Он снял фуражку и утер подкладкой мокрый лоб. Она положила икону на подушку, ликом книзу. Она не верила своим глазам.

"Прикрой дверь, — сказала она. К ней вернулся дар речи. — Боже, как ты изменился".

Огонек свечи снова колыхнулся, и вся комната как будто пошатнулась. Инвалид прислушался. В кухне еле слышно чмокал кран.

"Да и ты, матушка, не блещешь красотой, — проговорил он. — Н-да".

Оба были смущены и молчали.

Он стал выпрастывать плечи из-под груза, висевшего у него за спиной. Мешок плюхнулся на пол.

Марья Александровна все еще не решалась слезть с кровати. Он так мучительно возился с веревками. Господи, подумала она, чего же я сижу? Но как же ему все-таки удалось войти? И как он ее разыскал? Она смотрела на него в упор, плотно сжав губы.

"Да тут старик один сидит, — усмехнулся гость, — изразлит какой-то. Не пойму, швейцар али ночной сторож? Впрочем, чего ж искать. Тут у вас почти ничего не изменилось. Разве что переулок заасфальтировали, на мое счастье".

Так я и знала, — подумала она, — что цепочка не закрыта. Вот память.

"Насчет меня не бойся. Я у тебя не задержусь, передохну с полчаса и двинусь, никто и не узнает. Н-да. /Он вздохнул/. Привел-таки Бог встретиться. Ты думала, я помер? Я, точно, помер, расстрелян и похоронен, однако вот живу. Жив курилка. Ты извини, я закурю".

Он добыл из-за пазухи кисет, сложенную книжечкой газету. С необыкновенной зоркостью она углядела дореволюционный шрифт, увидела старую орфографию, ай-яй, какая неосторожность. Комната наполнилась табачным дымом. Она видела, как двигается его заросший щетиной подбородок.

Что он там говорит? — подумала она.

"Отсырела махра, — пробормотал он. Стал снова разжигать козью ножку, бумага вспыхнула, он закашлялся. — Князь Щелоков, курва, проститутка, — он кашлял и ругался, — ...себе и шлюхе своей обеспечил место в салон-вагоне, а на других нас...ть! Представляешь?! Нет, ты только представь себе, Маша, — произнес он неожиданно с той давно забытой интонацией, от которой начало что-то медленно подниматься со дна его души, и рука ее сама собой поднялась и зажала рот, а глаза все так же неподвижно смотрели на говорившего, — дождь льет подряд третьи сутки, а может, и десятки, дорога — сплошное месиво, ад кромешный. Люди оставляют в грязи сапоги, лошадей, повозки, наконец совесть... Раненые лежат

в грязи, да что там раненые. Вся Россия тонет, кверху колесами. Словом, видим такое дело, и — кто куда, к едреной фене".

Он слюнил палец, грязный, с черным ногтем, подмазывал самокрутку, торопливо затягивался, он спешил выложить ей свое, нисколько не думая о ней, не спрашивая, как она жила все это время, он говорил, не давая ей раскрыть рта, сквернословил, не уважая в ней не то что родную сестру, но хотя бы просто женщину...

"И я вот что тебе скажу: они правы. Да, правы тысячу раз, ослиный член им спереди и сзади... Кабы не они — ничего бы не осталось. Вся страна пошла бы с молотка, все до последней крохи скормили бы жидам, а русский мужик так и остался бы сидеть голой ж... в грязи, вот что я тебе скажу. Я, Маша, многое пересмотрел... Думаю, что и за границей, кое-кто смотрит теперь на вещи по-иному. Мы большевиков проклинали, а надо было им в ножки поклониться, словно новым варягам, придите, мол, и володейте нами. Мы думали, дворянство — становой хребет России, ее честь, черта с два! Дворянство было и сплыло. В соплях своих захлебнулось. А Россия стала еще крепче! Ты думаешь, этот грузин, мать его, не понимает, чей жезл, чей скипетр он держит в руках? Не все ли равно, что они говорят, важно, что они делают".

Ей все время хотелось задать ему один вопрос.

"Сейчас, сейчас, — отмахнулся он. — Что я хотел сказать... — И вдруг закричал, гнусаво заблеял карикатурно искаженным голосом на базарный лад: — Марксизм! Ленинизм! Онанизм!.. Одни слова. Кимвал бряцающий... А Россия — вот! /Он выставил кулак/. Н-да!.. Дело не в народе, народ дерьмо. И не в дворянстве, дворянство миф. Дело в том, ради чего все совершается в этой стране. А я тебе скажу! Ради того, что начал Иван Калита, продолжил Петр. И если никто, кроме большевиков, не смог, если никого не нашлось... Что ж! Сойдут и большевики. В 17-м году образованный класс показал, на что он способен. Языком трепать... А народу дай волю, он пропьет к собачьей матери все царство. Вот тут они и приходят... Э, неважно, кто они такие! Они ведь

только орудие. Они думают, что они строят новый мир, а на самом деле они орудие, да, для высшей цели, как Петр, как Иван Калита! Да, впрочем, уже не думают. /Инвалид махнул рукой/. Вот увидишь. Завтра, кха, наденут, кха, кха!.. наши погоны".

Он раскашлялся над вонючим тлеющим окурком, зажатым между двумя пальцами. Поднимет на ноги весь дом, подумала Марья Александровна.

Ее возмущало, что этот гость из прошлого, жалкий и страшный обрубок на колесиках, в котором она с трудом узнала помершего от испанки в Петрограде родного брата, которого помнила милым ясноглазым студентом, ее возмущало, что он не понимает, что ее интересует совсем другое! Точно будто после двадцатилетней разлуки нет другой темы для разговора, чем эта глупая и компрометантная философия об Иване Калите, России и тому подобных несуществующих, не имеющих отношения к жизни вещах. Точно вместе с половиной тела он потерял ощущение действительности. Разбудит жильцов, и разговора не получится. А ей так много нужно спросить у него, другого такого случая не будет. Ведь он мертв, в самом деле мертв, и когда кашляет так, что сердце надрывается, и когда грозит кулаком своему портрету, ну, конечно, ведь это он висит там в углу, в овальной рамке, чистенький мальчик в тужурке московского университета, мамин любимчик, — все равно он мертв и его нет. Значит, правду говорят, что покойники являются с того света. А тот, неужели тоже погиб?.. Как, он сказал, его фамилия, этого князя в салон-вагоне?

"Щелоков, — сказал инвалид мрачно. — Сука, проститутка..."

Она сидела с окоченевшими ногами, страдальчески улыбаясь и не сводя с него глаз. Вот так же вымученно улыбалась она много лет назад, когда при ней называли это имя.

Нет, решила она, не помню и не хочу вспоминать. И потом, тот был в очках.

"Не в очках, а в пенсне. Одно стекло разбилось, так он, представь себе, носил половину. Длинный, как глиста. Я был

длинный, а он еще длиннее. И губы красил. Ну что ты на меня уставилась? — крикнул он. — Ты-то уж, я полагаю, должна была его помнить!"

"Значит, — неожиданно для себя сказала она вслух, — ты затем и пришел, чтобы мне все это рассказать?"

"Выходит, что так", усмехнулся гость.

"И ты тоже помнишь?"

"И я помню".

"Зачем же ты тут ораторствовал?"

"Знаешь, — сказал он, — у каждого свои заботы".

Марья Александровна взволнованно заерзала на постели.

"Ты прости меня, старуху, — заговорила она, — никак я не могу понять... Уж если об этом зашел разговор... Понимаешь, ведь у нас же с ним ничего не было, да и не могло быть. Ведь я убогая, я... как это у вас говорится? Христова невеста я. Я ни с кем, ни с кем!"

"Дура ты, — сказал он нагло и весело, — а если позабыла, то я тебе напомню. Он тебя взял в гостиной, вот и все".

Марья Александровна только трясла головой, прижимая к щекам ладони.

"...днем, часов в двенадцать. Я за чем-то вернулся, не помню уж за чем. День был солнечный, вот это я помню, и с крыш капало. Когда же это было, Маша? Лет сорок назад? или уж все пятьдесят? Успокойся, я вас не застал... Я только увидел, что сидишь на софе, бледная, как мертвец, и глаза сверкают, а он стоит посреди комнаты с красными пятнами на щеках. Я сразу все понял. А он, этот твой князинька, поднимает с полу очки, очки-то на полу валялись, возле дивана... и говорит, это я как сейчас помню: ах, это ты, говорит, Серж? а мы тут в буриме играем. Но ты должна мне отдать справедливость: я тебе никогда ни словом не дал понять, что я догадался. Я и ему ничего не сказал, хотя знал, что он на тебе не женится".

Он еще что-то пробормотал, но она не расслышала, словно по мере того, как таяла свечка, глохли и звуки. В каморке Марьи Александровны в самом деле становилось все темней, и она скорее угадывала, чем различала висевшую прямо

напротив нее фотографию, на которой сняты были трое: Сережа, "князинька" и еще какой-то кудрявый юноша, которого она уже не помнила. Нет, думала она, вытирая пальцами в углах глаз слезы. Ничего не было, я-то знаю. Все так, как он рассказывает, и у меня в самом деле сердце оборвалось, когда я услышала, что кто-то идет, но ведь он не знает, что было до этого. А что было? — спросила она себя. Да ничего не было. Не было настоящего чувства, несомненного, при котором "это" можно и отложить, когда "это" бережешь как подарок, приготовленный для любимого; а коли не было чувства, то "это" стало необходимым и неотложным. Я помню, в меня словно дьявол вселился. Я била, щипала его. Он думал, что я сопротивляюсь, а я била его со злости, вымещала на нем свою досаду за то, что он такой недотепа... Ведь я врала, продолжала она с ожесточением, врала, когда говорила себе, что так и не знаю, взял он меня или не взял. Ведь я и к доктору ходила, ну да, к этому знаменитому, как его, он принимал на Мясницкой. И что же? Врач сказал, прошу прощения, мадемуазель, прежде чем вас исследовать, я должен знать, были ли вы замужем... именно так он выразился, удивительный лексикон! Я кивнула, а потом он мне объяснил, что с молодыми девушками так бывает: им "показалось", что они вышли замуж, "разумеется, с точки зрения анатомии", в чувства он не вдается, а фактически, кхм, до анатомии дело не дошло. Он даже позволил себе отпустить какую-то шутку насчет девы Марии. Я вспыхнула и назвала его пошляком...

Ноги совсем заledenели, надо бы сходить на кухню за грелкой. Ах, не нужен был и врач, она сама все знала без врача. Глаза ее блуждали по комнате, словно она пересчитывала свое убогое имущество: желтый самовар, ветхое кресло. Мамино кресло, единственная вещь, которую ей удалось спасти. И эти карточки, обступившие ее со всех сторон. Пускай у меня горб, думала она, и пусть я Богом обижена. Зато у него была горбатая душа. В ту самую минуту, когда он бросился поднимать с полу очки, вот тогда-то я и увидела, что у него душа горбатая... или это было пенсне? Поднял с полу и надел, даже не заметив, что надевает одну половинку.

Вот почему они все погибли, подумала она без всякой связи, глядя на фотографии. У них были горбатые души.

"Баста! — вдруг произнес голос с порога. — Заболтался я тут с тобой..."

Очнувшись, она увидела, что он в фуражке и зацепляет верхний крючок шинели. Деревяшки, которыми он отталкивался, стояли наготове перед его тележкой.

Он начал было просовывать руки в лямки заплечного мешка. Но потом передумал, почесал в затылке и стал разматывать веревку.

"Все думаю, черт подери... еще протухнут".

Ужасно долго разматывал.

"Прости, Маша, — проговорил он озабоченно. /Она следила за ним со страхом. Язык не поворачивался спросить, что у него в мешке./ Ты бы не могла, кхм... устроить мне таз с водой?"

Таз? О, Господи! Что он еще придумал?

Согнувшись, он распутывал куль, из которого в самом деле шел тяжелый запах. Сначала он достал оттуда погоны. Когда-то золотые, они были теперь тусклые и помятые, в мокрых пятнах. Поплевав на них, он принялся чистить позолоту рукавом. Потом вытащил какую-то снедь в размокшей бумаге, понюхал...

Запах становился все сильнее, но она не могла понять, чем пахнет. Это был запах грязного солдатского мешка, нужды, кислого пота. Запах отсыревших лаптей, запах шпал и рельсов, змеящихся под тусклыми фонарями. Запах, идущий из тьмы товарных вагонов, по которым барабанит дождь. Запах горя, смерти, революции и гражданской войны. Ах, когда же он, наконец, уберется, этот увечный, никакой он ей не брат!.. Она его не знает и знать не хочет. Надо встать и вызвать милицию.

"Уйду, не волнуйся, — бормотал инвалид, роясь в мешке. — Только взгляну, как там у меня, и пойду. — Он засмеялся. — А ты думала, я исчез навсегда, небось скрываешь, что у тебя родственничек деникинский офицер... Нет-с, мадемуазель, ваше скородие, ошибаетесь, от нас так просто не отделаетесь!

Мы хоть и сковырнулись с копыт, однако ж, вот, наслаждаемся вашим гостеприимством-с! Все мы... все мы тут... н-да".

"Таз, сука! — заорал он. — Где таз? Мне ноги мыть надо!"

И с омерзением, с ужасом, почти теряя сознание от удушливого трупного запаха, который пропитал всю комнату и, казалось, исходил от всех предметов, от кресла, от старых фотографий, даже от ее постели, с чувством внезапной и страшной догадки она увидела, что он вытаскивает из мешка одну за другой свои отрубленные ноги.

ПОЛУНОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ /продолжение/

В ту же самую ночь — заметим, что рациональная теория сновидений должна обязательно учитывать влияние некоторых общих факторов, метеорологических или даже астрономических, иначе остается непонятным, почему в некий определенный момент сны посещают сразу всех, между тем как в другое время никому ничего не снится, — в ту же ночь Полина, домработница Ильи Ильича, видела нечто, оставившее отчетливый след в ее душе, хотя и малопонятное; когда она попыталась рассказать свой сон мальчику, он засыпал ее вопросами, на которые она не сумела дать удовлетворительного ответа. Самое большее, на что она оказалась способной, это обрисовать внешнюю ситуацию; рассказ ее изобилует реалистическими подробностями; наконец ей удалось более или менее вразумительно объяснить ему значение некоторых терминов, например, кто такой свя т и т е л ь . Но хотя подробности стояли, как галлюцинации, перед ее глазами, она не могла выразить, передать словами тот особенный фон, на котором разворачивался весь этот странный сюжет и который наполнял его, как ей казалось, глубоким смыслом. В нас всегда присутствует нечто, незаметно для нас сообщаемое вещам гармонию и умиротворенность, либо, напротив, обнажающее их бессмысленность и пустоту.

Итак, она лежала за ситцевым пологом на своей узкой вдовьей кровати, в темноте, среди ночной тишины, которую равномерным гулким чмоканием отмечали падающие капли воды на кухне. Точно верстовые столбы, пересекающие

пустыню. Она лежала на спине, положив левую руку на грудь, правая рука ее целомудренно покоилась на животе, прикрывая холмик волос, и голова слегка склонилась набок, словно голова убитой наповал. И вокруг нее разомкнулись стены прихожей, не стало лампочки под потолком, исчезли антресоли с велосипедными колесами. Одна занавеска осталась висеть на месте, но теперь она висела от стены до перегородки. За перегородкой сухо щелкали ходики и безостановочно стучали капли по крыше. Полина открыла глаза.

Она подумала, как хорошо спать в такую погоду, укрыться с головой ветхим ватным одеялом, и снова уснула. Но какой-то звук тормошил ее, не то звон капель, не то щелканье ходиков. Она проснулась окончательно, это был лай.

Она была еще молодой и ловкой и легко прыгнула с шаткой деревянной приступки, прислоненной к печи. В отцовском зипуне, сапогах и в платке, держа в руках двустволку, вышла на крыльцо и направилась вниз к озеру, вдоль тускло поблескивающей тропы, вместе с повизгивающим псом, вглядываясь во мглу и не понимая, что там происходит.

Там никого не было. Несколько лодок, полных воды, стояли у берега. Пес Спирька прыгнул в лодку, пробрался на корму и сел. Тогда она заметила, на том берегу стоит человек, похоже полураздетый, машет руками. Хлюпая сапогами в воде, она обошла лодку, нашарила под скамейкой жестяную банку и стала вычерпывать воду. Села за весла, мокрую юбку заткнула между ногами. Кобель смиренно сидел на корме. Дождь стал как будто тише. Подъехали, мужик, поджидавший их, был в длинном белом балахоне, в лаптях, с сумой на ремешке, не то странник, не то сбежал из больницы. На обратном пути почти не разговаривали, слышался плеск весел, скрип уключин, пес, весь мокрый от летевших на него брызг, переступал лапами, не сводя глаз с воды, медленно набирающейся в лодку.

"Как кличут-то?"

"Спиридон", — ответила она равнодушно.

"Имя вроде не собачье", — заметил ездок.

Она обернулась, подняв левое весло, а правым табаня. Лодка начала разворачиваться, причалили. Спирька прыгнул

на берег. Стали рассчитывать.

"А, не надо, — сказала Полина. — У нас тут все даром перевозят".

"А ты сиди, милый, сиди", — сказал странник, и пес покорно опустил зад на траву, и больше она его не видела. Становилось как будто светлее, дождь еле моросил.

"Как же так. За труд надобно платить".

"Не надо", — повторила она и отвернулась.

"Эва! А ты взглянь на меня, может, передумаешь?"

Она подняла на него глаза.

На мгновение лицо странника показалось ей юным и прекрасным. Темные глаза в провалах орбит блестели, как вода на дне глубоких колодцев. Но сейчас же их блеск потух, теперь это был снова немолодой, утомленный жизнью мужик с глубокими складками на щеках и мокрой, торчащей клочками бородой. Над головой странника, вокруг лысого лба стояло тусклое сияние.

Ба, вот он что, подумала она растерянно. И рубашка белая...

Она хотела встать на колени. Мужик остановил ее.

"Спасибо тебе за перевоз, — промолвил он, — я перед тобой в долгу. Не хочешь брать денег, скажи, может, чем другим тебе отплату. Тебя как зовут?"

Она назвалась.

"Ну вот, Полина. Скажи, чего желаешь".

Она молчала, закусив угол платка.

"Ужли ты от жизни ничего не ждешь?" Она молчала.

Подождав, он спросил мягко: "Это твоя изба? может, хочешь новую?.." И она снова замотала головой.

Тогда он стал расспрашивать ее, внимательно на нее глядя с высоты своего роста, составив ноги в лаптях и держа руку на холщевой суме. Она отвечала, опустив голову, изба эта не ее, а отца, отец помер, а сама она жила в другой деревне верст за сорок отсюда.

Когда была коллективизация, ее мужик пришел на собрание в клуб сильно поддавши, вылез на трибуну и стал стыдить начальство, сидевшее за столом, обозвал их последними словами, а потом подошел к гипсовой голове, она стояла

в углу, и плюнул на нее. И его тут же забрали, повели под руки два милиционера, один ударил его по голове, а кругом все смотрели, и никто слова не сказал. Сама-то она не видала, лежала дома со своей женской болезнью, из-за которой у них и детей не было. Спасибо, добрые люди предупредили: мальчишка соседский прибежал. Она скрывалась, потом перебралась сюда.

"Зачем же ты, Полина, все это вспоминаешь?"

"Как же не помнить".

"А вот я сделаю так, что ты забудешь, — сказал он. — Тебе о будущем надо думать. Ведь ты не старая, у тебя все впереди".

"Нет, — пробормотала она, — ничего мне больше не надо. Об одном прошу Бога".

"О чем же?"

"Пускай пошлет мне легкую смерть".

Поднялся ветер с озера, заколыхалась занавеска, ей стало холодно, она повернулась на бок, натянула одеяло. Дождь капал, стучал по крыше, по траве, и белый странник смутно улыбался, устремив на нее мерцающие в темных провалах глаза.

"Легкую смерть? — сказал он. — Иди, Полина, иди".

Она повернулась и пошла вверх по тропинке.

"Стой. А теперь обернись".

Она посмотрела назад, — на тропинке, где она только что прошла, шагах в десяти от нее темнело что-то: человеческое тело. Она быстро подошла, нагнулась.

Это была она сама, лежавшая поперек дороги с раскинутыми руками, убитая наповал, с выражением спокойного удовлетворения на лице.

Ночью Илья Ильич разговаривал с женой.

Он лежал с закрытыми глазами, а она в это время бесшумно двигалась по комнате, прибирая какие-то вещи, нашла на полу валявшиеся чулки мальчика, натянула на руку: чулок был аккуратно заштопан. Она развесила их на батарее.

"Который час?" — спросил Илья Ильич, не открывая глаз.

Мальчик лежал рядом, зарывшись в одеяло, лицом к стене.

"Это ты?" — спросил он снова.

"Спи, — ответила она. — Тебе завтра рано вставать".

"А ты?"

"Посижу и пойду".

"Как это ты ухитрилась, — сказал он, приподнимаясь на подушке, — войти так, что никто не услышал? Как это тебе вообще удается снимать цепочку... и тому подобное?.."

В лицо ему через узкую щель между гардинами светил фонарь. Жена сидела в кресле, он не различал ее лица, но видел улыбку.

"Ты неплохо выглядишь. Пожалуй, помолодел!"

"Это ночью так кажется", — оправдывался он.

"Давай закроем форточку".

Через мгновение она снова сидела перед кроватью, зябко запахнув халатик. Он вспомнил, что ей всегда было холодно.

"Вечно ты мерзнешь", — сказал он.

"Мы с тобой не изменились".

"Не знаю, — проговорил Илья Ильич, — ты, наверное, ждешь от меня подробного рассказа. А что, собственно, рассказывать? Жизнь идет. И в то же время стоит на месте. Никаких новостей. А... как твои дела?" — спросил он упавшим голосом.

Она улыбнулась и пожала плечами.

"Извини, — сказал он, — я до сих пор не собрался вставить приличный портрет. Эта фотография... она уже пожелтела. Хотя в сущности прошло так мало времени. Что я хотел сказать? Там есть мастерская, где можно заказать на фарфоре... Представь себе, вечно закрыто. То ремонт, то переучет".

"Боже, какая чепуха. Плюнь на этот портрет, кому он нужен?"

"Да, но все-таки".

"Мы отклонились. Как он?"

"Ничего. Ужасно ленится. Неплохие способности, но заставить лишние полчаса позаниматься — целая история. Полина его слишком балует".

"Я рада, что у него есть слух".

"Да, это у него от тебя. Вообще-то он мало на тебя похож. Разве что голос... иногда прямо твои интонации. Слушай, Роза, — сказал Илья Ильич, — мне надо с тобой поговорить. Я, пожалуй, встану".

"Боже сохрани. Разбудишь мальчика".

"Ты на меня сердисься, да?"

"Как тебе сказать: я все-таки женщина. Кто она такая?"

"Она русская. Вернее, наполовину русская, а наполовину..."

"Это не имеет значения".

"Ну вот, — обрадовался Илья Ильич, — а я что говорю? Больше было бы таких браков, меньше было бы антисемитизма!"

"Поэтому ты и женишься?"

"Я сам все понимаю, — буркнул он. — Отлично понимаю и отдаю себе отчет. — Он стал загибать на пальцах: — Не еврейка, раз. Два: ребенок. И даже не один".

"Тоже мальчик?"

"Девочка... Лет пять или что-то в этом роде. Впрочем, это-то как раз неважно: девочку забрали родители мужа и все равно не отдадут, даже если бы мать этого захотела".

"Жаль. Лучше было бы, если бы вы соединили детей".

"Да? — задумчиво произнес Илья Ильич. — Ты так думаешь?"

"Ей захочется иметь своего ребенка. Мальчику от этого будет хуже".

"Неужели тебе непонятно, — сказал он, — ребенок носит его фамилию. Его фамилию?"

"А она? У нее тоже эта фамилия?"

"Нет, конечно. Разве я тебе не сказал? Она развелась".

Жена по-прежнему сидела перед ним в том самом кресле, где когда-то, обложенная подушками, просиживала целые ночи. Он отчетливо видел ее поблескивающие в полутьме волосы. Видел даже выражение лица, хотя самого лица не различал. В сущности, все ее вопросы были риторическими, она и так все знала. Она знала обо всем, но он должен был как-то прояснить все это и оправдаться.

Что тут удивительного? — хотел он ей сказать. — Ты же знаешь, что кругом творится. — Он прислушался и, наклонившись, быстро что-то зашептал.

"Вот видишь, — сказал он. — А ты говоришь. Сейчас все так делают. Сейчас даже вызывают и заставляют, слышишь, заставляют подавать на развод. И слава Богу. Слава Богу, что хоть не арестовывают, не ссылают! И что в конце концов меняется, скажи на милость! Кому будет хуже оттого, что она развелась? мужу? Да его и в живых-то наверняка уже нет. Люди исчезают, как пыль, как..."

Помолчали.

"Да, да, да, — сказал он скучно. — Да. Я все понимаю, и Фира совершенно права. В такой обстановке это просто безумие. Мало того, что у нас в квартире, под носом, живет бывшая дворянка, я еще собираюсь связать свою жизнь с бывшей женой врага народа". Слова эти, как очистки, сами собой слетали с языка.

Он с отвращением вытер губы. Чем больше он оправдывался, чем больше счищал с себя эту грязь, тем больше чувствовал себя испачканным. Его оправдания были хуже самого поступка.

Он вдруг почувствовал, что существует солидарность мертвых. Они там все заодно. Жены и мужья...

Он пробормотал:

"Она сама не лучше".

"Кто?" — спросили из тьмы.

"Эсфирь! Ты помнишь ее мужа, ведь он тоже. И ее сразу же выслали. Потом она вернулась. Это было через полгода после того, как ты... ну, словом, уже после тебя. Ты думаешь, почему она вернулась? Потому что развелась, официально. У нее теперь девичья фамилия..."

Такая же, как у тебя, хотел он сказать, и заплакал.

"Илья, — сказала она, помолчав, — скажи мне откровенно. Ты ее любишь? Или просто... соскучился без женщины?"

Илья Ильич смотрел на никелированные шары в ногах кровати.

"Не знаю, — проговорил он. — Может быть, это и есть самое

главное препятствие. Я смотрю на нее и вижу ее без платья".

"Вы уже...?"

"Да".

"Но имей в виду, — услышал он ее голос. — Мальчик останется со мной".

"Как это? — спросил он тревожно. — Почему это?"

Ему показалось, что она медленно растворяется в темноте, но в эту минуту свет фар проехал по потолку, и он убедился, что она еще здесь.

"Потому что дети всегда остаются с мертвыми, — сказал голос, — потому что они их продолжение. Он с тобой, пока я с тобой. А если ты от меня уйдешь..."

Ну, конечно! Мертвым хорошо: они всегда правы. "Но ведь это несправедливо!" — хотел крикнуть Илья Ильич, а на самом деле тяжелый хрип вырвался из его груди. Губы не слушались, слова застряли в горле. Впрочем, они были уже не нужны, ночной разговор окончился ничем, как все разговоры: ничего не прояснив, ничего не доказав. Но, Бог мой, кому и когда помогали доказательства?..

Так закончилась эта ночь — быть может, не единственная, — когда в сумраке и тишине спящего города, лучшего города на земле, как его называли, где одно единственное окно на небе светилось до рассвета, и за этим окном расхаживал лучший и величайший человек на земле, это был свет его лампы, он один бодрствовал, а все спали, — когда в тишине оцепеневшего города, друг за другом, появлялись из-за угла, входили в подъезды, поднимались по маршам и отпирали квартиры заботливо припасенными ключами те, кого уже не было. Они заглядывали в комнаты, останавливались на пороге или садились на край кровати. Их не нужно было бояться. Они были мертвые, несуществующие, сгоревшие в огне, распавшиеся в ямах на полях захоронения, выскобленные из документов, бессильные что-либо предпринять, но и бессильные помочь; в худшем случае их можно было стыдиться, в лучшем — не поминать лихом. Они входили. И на встречу им поднимались с подушек, устремляли на них мо-

лочные, застланные сном, незрячие глаза те, чья жизнь была в некотором смысле оплачена их исчезновением. Но мудрость мертвых — как и их назойливость — была настолько же безобидной, как и бесполезной; весь урок их воскресения пропадал с наступлением дня: люди поднимались со смутным ощущением тяжести на душе, но без малейшей памяти об их приходе. Так прошла эта ночь. Над городом сверкала заря. Полина встала и поплелась на кухню. Нехотя поднялся отец. Каждый нес в себе сознание тайны, неведомой для него самого. Теперь тот, кто бессонной тенью бодрствовал в своем окне над Москвой, мог прилечь; говорили, что он так и делает. Наступил новый день, и мальчик, единственный праведник, кому ни один загробный гость не докучал полуночной беседой, проснулся для новых дел, мыслей и тревог.

ВИЗИТ К ДАМЕ

Существовало две области умолчаний. Первая — наружный мир, в котором кое-как еще можно было разобраться. Разумеется, никто открыто не посягал на священные реликвии, как-то портреты и прочее, ни единым словом или усмешкой не подвергал сомнению речи и лозунги. Но мальчик давно догадался, что с этим миром дело обстоит не вполне благополучно. Он впивался зрачками, как иглами, в лица взрослых, — они оставались невозмутимы, лица подданных, глядящих на голого короля. Следуя правилам этой игры, он не имел права ставить вопросы в лоб. Неясной оставалась принципиальная позиция отца, за кого он — за красных или за белых? Присоединял ли он себя к достохвальной общности, именуемой "мы, трудящиеся", или сторонился ее? Было бы странно перечить голосу, который звал со шкафа, он явно рассчитывал на отклик; тем не менее, однажды, в ответ на какой-то выкрик, отец буркнул; не время, а безвременье. Последовал любопытный разговор о сущности феномена, называемого временем: отец счел нужным придать ему отвлеченный смысл. По его словам, речь шла о времени, которое показывают часы. Ну и что же? А то, что стрелки

могут остановиться, но это не значит, что время стоит на месте. Вот когда останавливается время...

Тетка — из другой комнаты: "Перестань морочить голову ребенку!" Мало того, что "та" отравляет его мозги религиозными сказками, так он еще! Тетка критиковала фольклор Полины одновременно слева и справа: сказки подлежали осуждению и как антисоветские, и как "гойские". Словом, самая неясность этого мира несообразностей, навязанных кем-то правил и неискренних фраз, странным образом делала ясным его неблагополучие. Но он был ничто по сравнению с другой областью, с наглухо засекреченным миром недомолвок, скрывавших внутреннюю жизнь этих людей.

Мальчик не сразу понял, что речь идет о красивой даме с шестого этажа. Отец пришел с работы рано, небрежно осведомился о занятиях музыкой. Новый учитель все еще не был подыскан, следовало повторять старые упражнения. Пообедав, отец стал ходить по комнате. Полина бесконечно долго обмывала тарелки в полоскательнице.

Отец заговорил, и, значит, слова его отчасти предназначались для нее, — мальчик почувствовал это, как он чувствовал многое, не отдавая себе отчета, что это значит.

Он всегда хорошо понимал правила игры, хотя это вовсе не значило, что ему ясен их смысл. Как глухонемой, который смотрит кино, он ясно видел расстановку действующих лиц, улавливал нюансы их чувств. Но не понимал, о чем они собственно хлопочут.

Отец говорил длинно. Полина мыла посуду, много раз ополаскивая одну и ту же тарелку, и как будто хотела ободрить отца, показать, что то, о чем он все еще не решается сказать, уже как бы решено общим согласием взрослых. Но мальчику казалось, что отец оправдывается перед ней за то, что не сказал ей об этом раньше. Он обращался к мальчику, но говорил для них обоих. "Вот что, — сказал отец, называя мальчика по имени и поглаживая его руку своей широкой рукой. — Я бы хотел поговорить с тобой об одном деле..." И еще долго говорил о том, как бы он хотел с ним поговорить. Поговорить об одном деле. Дело это серьезное, и от не-

го, можно сказать, зависит вся их жизнь.

"...понимаешь?"

"Да", — сказал мальчик, хотя пока еще ничего не было понятно. Но понимать значило для него войти в ту особенную атмосферу близости, которая создавалась чинным сидением друг против друга на диване, тихим и значительным голосом отца, ровным светом лампы. Мальчик был горд и счастлив, что с ним беседуют, как с равным. И не все ли равно о чем?

"Значит, так, — вздохнул отец и нахмурился, как он делал, когда умножал трехзначное число на трехзначное. — Вот что я тебе хочу сообщить..."

"А я знаю", — вдруг сказал мальчик.

"Что ты знаешь?"

"Что ты мне хочешь сообщить... Про это, да?"

"Ну да, — неуверенно произнес отец. — Откуда ты знаешь?"

"Мне Полина сказала", — ответил мальчик и принялся болтать ногами.

"Да ты что! — Полина сняла с плеча полотенце. — Когда это я тебе говорила?" Отец опустил глаза, остановил ее жестом. Но уже что-то переменялось.

Исчезла атмосфера тихой серьезности, и не было больше равенства. Инстинкт подсказал мальчику, что равенство будет для него болезненным; а отец этого не понимал и надеялся продолжать в том же духе. Тщетно: мальчик предпочитал быть маленьким.

"Сиди ты, ради Бога, спокойно. Какой разболтанный", — сказала Полина.

/В этих словах заключалось указание, что отнюдь не она — причина этой разболтанности. Всегдашняя манера взрослых говорить одно, а подразумевать нечто совсем другое./

Еще непонятно было, лучше или хуже это новое настроение. Впрочем, ясно, что не к добру. Под мальчиком медленно сжималась пружина, чтобы тем сильнее подбросить его; неудержимо захотелось пройтись гоголем, прогромыхать дерзкое слово. Но и жалко было — тишины и одинокого отца.

Отец сидел в прежней позе, сцепив пальцы на колене.

"Останьтесь", — сказал он, не глядя на Полину: она было

двинулась с полоскательницей на кухню. Мальчик болтал ногами, глаза его блуждали.

"У каждого ребенка, — сказал отец, — должна быть мать".

Он замолчал, ожидая ответа.

"А у тебя?"

"Что у меня?"

"У тебя, когда ты был ребенком, была?"

"Разумеется", — сказал отец.

"Она тебя родила?"

"Да".

Полина с полоскательницей в руках позвала мальчика.

"Что значит — родила?" — спросил он.

Полина снова позвала.

"Ну, чего тебе?" — он скорчил недовольную гримасу.

"Ужинать, — сказала она, — мой руки".

/Пожалей ты его, вот что она хотела сказать./

"Да ну тебя", — сказал мальчик и запрыгал на одной ножке через всю комнату. Повернулся, балансируя.

"Зачем она нам?" — спросил мальчик, качаясь на одной ноге, и выставив ладони, на которые нужно было положить ответ.

"Видишь ли, — отец уперся руками о колени. — Видишь ли..."

Он взглянул на сына и увидел в глазах у него искры, предвещавшие недоброе. Бес, хорошо знакомый домашним, готовился овладеть им.

"Ну-ка, живо, — сказал отец, нахмурясь. — Мыть руки и за стол".

Мальчик отступал, набычившись, он маршировал назад, к дверям, и грозно мурлыкал военный марш. "Б-х-х!" — он изобразил разорвавшийся снаряд.

"Кому говорю!" — повысил голос отец.

Ответом было презрительное молчание. Выхватив саблю, мальчик вылетел в коридор, на ходу прищипывая взмыленного иноходца.

"Вот видишь! А я что говорил? Так тебе и надо". Седобородый бог злорадно потирал руки.

"Он глуп", — сказал Илья Ильич мрачно.

"Я бы этого не сказал! Но еще не поздно передумать. А? Верно я говорю, Полина?"

Полины в комнате не было, она отправилась за мальчиком.

"Глупости, — возразил Илья Ильич, — я же не врага в дом привожу. У ребенка должна быть мать".

"Те-те-те, — передразнил старик, — знаем мы эти песни. Азохэн-вей! Уж если так приспичило, так разве Полина ему не мать? Вот на ней и женись".

Помолчали.

"Ты думаешь, Полина..."

"Перестань, — сказал отец. — Глупости какие".

Он расхаживал по комнате, повторяя про себя: "Глупости, одни сплошные глупости".

"Ма, расскажи историю".

"Нечего мне рассказывать, все рассказала".

"Ну, ма".

"Ничего я не знаю. Отстань".

"Ты хочешь со мной поссориться? Скажи: хочешь, чтоб я на тебя рассердился?"

"Да, — сказала Полина. — Хочу, чтоб ты рассердился".

"Ну что ж, — проговорил он зловеще. — Где моя сабля? Где мой ятаган?"

Он расхаживал по комнате, постепенно обрастая оружием.

В конце концов он оказался верхом на коне, закованный с ног до головы в железо. Двуручный меч — над головой.

"Рассказывай! — или голову с плеч".

"Ах ты, страсть какая. Уж ладно, смилуйся".

Он спешился. Свита увела коня.

Странное время наступало для мальчика: оно бывает в жизни каждого. Старинные романисты называли его пробуждением. Но пробуждением от чего? Конечно, не от пресловутого "золотого сна"; дети видят мир так же ясно, как и взрослые.

Все самое важное в нашей душе происходит тайно; догадки, решения — все это лишь некое санкционирование того, что уже свершилось. Так женщина узнает о том, что она беременна, но когда, в какой момент произошло зачатие, не знает. Перелом, происходивший в жизни мальчика, можно было бы назвать крушением телеологического мифа: идея целесообразности всего сущего незаметно уступала место в его уме чему-то другому. Он уже отвыкал задавать вечный вопрос: для чего? Для чего идет дождь? Чтобы напоить землю. Для чего педали у пианино? Ему объяснили, для чего правая; назначение левой педали было менее понятным, но в конце концов это можно было объяснить некомпетентностью тех, кто взялся объяснять. До определенного момента вещи и обстоятельства не могли нести ответственности за то, что взрослые не умели на своем водянистом, полном всяческих "видишь ли..." языке объяснить их цель. Еще вчера мальчик был обитателем расчищенного и обжитого континента целесообразности, где на все "для чего" и "зачем" существовал точный ответ. Все вещи, словно под влиянием магнитного поля, были ориентированы в сторону некоторого абсолютного центра. Так было вчера. Так, по-видимому, обстояло дело и сегодня. Но уже завтра он оставит этот берег, завтра мальчик поймет, что на каждом шагу мир полон прорех. Вокруг, как волчьи ямы, зияют бездонные "ни для чего". Пройдет много времени, он увидит, что на дне этих провалов лежит "для чего-то", придет позднее сознание неведомого смысла, но никогда он уже не вернется к былой самоочевидности разумного мира.

Сам того не ведая, он начал скользить вниз. Он деградировал! Еще он находил удовольствие в том, что для большинства взрослых давно осталось за пределами жизни; неправдоподобие этих историй, наивное, ничем не замаскированное, не смущало его, он понимал, что правила игры запрещают спрашивать, как это Иисус мог шагать по морю, вернуть к жизни умершего; но смысл и цель этих подвигов, еще недавно вполне очевидные, становились для него все темнее. А потом и вовсе стали ему безразличны.

"Еще", — сказал мальчик, подумав.

"Чего тебе еще?"

"Еще расскажи".

"Ну вот что, — заявляет Полина, — хорошего понемножку. Тебе спать пора. Эвон, сколько времени: отец сейчас придет. А на скрипке ты занимался? Что-то я не помню".

После этого она переходит к следующему номеру, такому же заигранному, но она принадлежит к тем исполнителям, которые предпочитают беспроектную классику сомнительному модерну. Она восседает в старом продавленном кресле, где сидела когда-то другая женщина, ее голос звучит однообразно и успокоительно, как рокот неспешных вод, она вынимает из головы шпильку и почесывает ею сзади, под узелком волос.

"Нечего, говорят, нам туда ходить, нас там убьют и забросают камнями. Не пойдем и тебе не советуем. Все равно, говорят, — он уже помер".

А он им все свое. Вот, думают, упрямый. Ну, делать нечего, пошли они...

В это время прибегает к Марфе мальчишка, ихний, соседский и говорит: они там за околицей, только боятся, как бы их кирпичами не забросали. Тогда она сама к ним пошла, подходит и говорит, вот если бы ты тогда с нами остался, мой брат бы не помер. Он и спрашивает: куды вы его положили? — А в погреб. — Проведи меня, хочу на него поглядеть. — Чего ж глядеть-то, батюшка? от него, чай, уж пахнет. — Все равно, говорит, проведи.

Ты, говорит, Марфа, не плачь, не горюй. /А у самого слезы так и текут./ Воскреснет твой брат. Она ему отвечает: да, воскреснет, небось, в Судный день, когда все мертвые встанут? Слыхали мы это. Господь на нее взглянул и сказал: напрасно ты, Марфа, сомневаешься, аз есмь воскресение и жизнь. Кто в меня верует, тот спасется".

Мальчик видит что-то вроде огорода, белое от зноя небо, и телега пылит вдаль. Вдруг со стороны улицы слышится рев, топот, злобные выкрики, целая толпа бежит с палками, с ремненными кнутами, а у некоторых камни в руках. Подбегают

к нему, к ученикам, шумно дышат, передние осаждают задних. И вот он стоит посреди красных, потных недобрых лиц, в толпе бородатых евреев, похожих на русских крестьян, стоит этот чудак-человек — высокий, с костлявым лицом. Тяжкий зной и насупленные взгляды давят его стопудовой тяжестью. Вдруг не получится? Вдруг его счастье ему изменит на этот раз? Он ни на кого не смотрит, он смотрит на камень, которым приперта дверь в погреб. А кругом — бурьян, подсолнухи, а вдаль телега пылит по дороге. Тускло блещет оловянное небо, ни облачка, ни ветерка. Лето в полном разгаре. Страшное, смертоносное лето. Сейчас все решится, сейчас все или поверят в него, поверят бесповоротно, до конца, или проломают голову. Не блуди языком, не будоражь людей.

Он что-то говорит, но не слышно. Апостолы переглядываются, один грызет травинку, другой бороду чешет. Хриплым пересохшим голосом он приказывает отвалить камень. Никто — ни с места.

Тут как назло начинают хлопать крыльями и петь петухи, один за другим, во все горло, с разных концов деревни.

Наконец, два мужика помоложе выходят и оттаскивают молча валун.

Он очистил горло. Приставляет ладони ко рту:

— Э-эй! Лазарь!

Молчание. Петух издали: кукареку...

Снова набирает в грудь воздух.

— Выходи!

Потом что-то скрипит. Это скрипит дверь. Визжат старые скрепы. Толпа стоит, открыв рот. Из черного подземелья выходит мертвец. В саване, голова замотана. Шаря впереди протянутой рукой, а другой загородившись от солнца, Лазарь вылезает на свет Божий из погреба. Пот течет по лицу Иисуса, тяжело знойно! Тридцать два градуса в тени.

И мальчик прыгает на одной ножке.

Мальчик прыгает, задача — пересечь комнату без остановки туда и обратно. Какое впечатление произвел на него рассказ, сказать трудно.

"Ма... — Он доскакал до угла и балансирует, не касаясь стены. — А что такое а з е с м ь?"

Визит к даме, обитавшей на шестом этаже, состоялся в один из ближайших выходных дней, — кажется, это было уже после того, как была учреждена семидневная неделя и забытые христианские названия снова пошли в ход — хотя ничто, кроме названий, не могло уже воскреснуть, — итак, визит состоялся в одно из воскресений, и вечером этого дня, и потом, через много лет, он не мог понять, почему безделушки, наполнявшие ее комнату, все эти статуэтки, пудреницы, китайские веера, игрушечные шкафчики с уголками из перламутра и портреты томных танцовщиц, здесь и там асимметрично развешанные по стенам, почему вся ее комната, похожая на коробочку, возбуждала с самого начала неопределенную неприязнь, недоверие и тревогу. Точно вещи были виноваты в том, что произошло позднее; точно он был одарен удивительным в его возрасте предчувствием; в самом деле, это могло быть предчувствием; но спустя тридцать лет обратный ход лучей легко мог ввести в заблуждение, то, что он приписывал себе тогдашнему, могло оказаться обычным артефактом памяти. В действительности дело обстояло иначе, чуточку иной поворот: вещи — картинки и статуэтки — не вплетались в ритмичный хоровод окружавших мальчика предметов и запахов, они были с л у ч а й н ы ; несчастный Тельман, в пятнах мух, был ему роднее; они были иноязычны и враждебны, их жеманность коробила его, смущая в нем маленького мужчину, перламутровые уголки хотелось отколупнуть ногтями, — что он чуть было и не сделал, — бархатный олень, распластавшийся над нагло-скромной кроватью, глядел в пространство неестественными цветами глаз, смущал и сбивал с толку. Так, лежа на спине с открытыми глазами /дверь в первую комнату была прикрыта, там журчало радио, и отец, он знал, сидит за столом с развернутой газетой/, мальчик вспоминал весь этот день, раздражавший его пестрой

мешаниной бессвязных мелочей, дразнивший блеском перламутра, отполированных ногтей, серебряного чайника, который она несла, постукивая туфельками.

Но сама дама была прелесть — высокая, с узкой спиной и какой-то пеной из взбитого шелка спереди, чернобровая, с необычайным сиянием волос, но не темных, как у матери, а белозолотистых, воздушных, и коричневые, горячие глаза ее странно отличались от светлой охры этих волос. Голос дамы, грудной и переливчатый, ворковал в ушах, распространяя аромат духов, мгновение — и теплые руки окружили его, она присела на корточки, и он почувствовал покусение на свою свободу, когда она привлекла его к своей теплой груди и стала щекотать губами уши. Он почувствовал все коварство этого щекотания. И конфет он не любил. Как это обыкновенно бывало с ним, мальчик не запомнил, что она говорила ему, не помнил и того, о чем она разговаривала с отцом, — кажется, о нем же, — но помнил звук голоса, влажные зубы и горячие глаза, которыми она моргала, пожалуй, слишком часто, то есть помнил то, что, в сущности, и было по-настоящему важным; он запомнил, что дама была доброй, надо отдать ей справедливость: не рассердилась, когда он что-то нарушил на этажерке, посыпались какие-то карточки, покатились по полу большая серебряная монета.

И не жадной: готова была подарить ему и эту монету /и он чуть было не взял/, и что угодно.

И все же — "не пойти ли нам к тете Нонне, м ? " — когда отец спросил в следующее воскресенье, словно не было между ними молчаливого уговора, что выходной принадлежит только мальчику и больше никому, словно такого закона никогда не существовало, — когда он так спросил, ответ был немедленным и безапелляционным: — "Нет". Этим мальчик хотел сказать, что с дамой покончено — раз и навсегда. Случайному не было места в их полной, гармоничной и самодостаточной жизни, и с цветастым оленем, с китайскими шкафчиками, с серебряным чайником на подносе, со всем этим было покончено. "Чудак, ты на нее сердит?" — сказал отец и щелкнул его по носу. Он стоял перед зеркалом, завя-

зывая вишневый с черными ромбиками галстук. Впервые между ними протянулась, словно запретная полоса, двойная недоговоренность, оба молчали, каждый за своей сеткой из проволоки, отец — желая сделать происходящее само собой разумеющимся, сын — потому что не признавал его, не признавал за случившимся никаких прав, никакого статуса реальности.

Между тем, по мере того, как общественность стала проявлять интерес к даме с шестого этажа, выяснилось, что все главное о ней уже известно. Все было известно, хотя никто ничего не видел, не знал, не слышал и никого не расспрашивал. Но подобные вещи распространяются по особым каналам, сходным с телепатическими, они, так сказать, разглашаются молча. Подобные вещи становятся очевидностью без каких-либо объяснений, аналогично некоторым другим фактам человеческой жизни, последствия которых налицо, но о том, что из вызвало, распространяться не принято: как, например, факт беременности. Было известно, что муж у этой дамы "сидит" /мальчик представлял себе согбенного человека, сидящего на стульчаке/, и разумеется, сидит недаром, обстоятельство, в известной мере аналогичное случаю бубонной чумы у вас в доме, однако, как и положено в таких случаях, проведена дезинфекция, иначе говоря, соответствующее лицо заявило о своем полном прекращении отношений с врагом народа и его дочерью, — как, где, каким образом заявило, никто не знал, но заявило. И таким образом перестало быть опасным для окружающих — хотя кто знает. Так или иначе, этот факт не мог не бросать особого света на предполагаемое замужество. Удивлялись легкомыслию Ильи Ильича. Возникла версия — косвенно реабилитирующая его — что дама уже в интересном положении и как честный человек он не находит другого выхода. Тем более, что она — согласно той же версии — не растерялась и написала заявление по месту его работы. Другой на его месте тоже написал бы куда надо, и ее бы выслали из города в двадцать четыре часа. Сожалели о мальчике. На кухне, в угасающих сумерках долгого весеннего дня, мальчик, упершись затылком в По-

линин живот, слушал тонкие замечания о лакированных ногтях и пергидроле, и о том, что ребенку нужна мать, а не... Полина защищала даму. На что соседка, Анфиса Федоровна, женщина с заячьей губой, чем, возможно, и объяснялась ее принципиальность, решительно возражала, что она не представляет, как это такая "принцесса" окунет свои пальчики в корыто. Что касается всеведущего бога, Иеговы его детства, вечно торчащего на кухне, то и он был не прочь принять участие в обсуждении, мог бы даже кое-что добавить из того, что относилось к сфере его всеведения, кое о чем рассказать, например о том, что на прошлой неделе, ночью, в годовщину своего исчезновения, бывший жилец вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. И что как раз в это время наверху, на площадке шестого этажа показался Илья Ильич. Гость, услышав шаги, моментально испарился, исчез, как это обычно бывает с ними, но когда Илья Ильич прошел к себе в квартиру, он-таки снова появился. Одет был, как и следовало ожидать, в бушлат и ватные штаны, босой, глаза открыты, весь испачкан землей. Заляпал глиной всю лестницу. В общем, он оказался мало похож на себя, если кто помнит, это был очень аккуратный мужчина, просто-таки щеголь; шел, держась за мошонку, так как — по сведениям, опять же известным только богу, — следователь бил его сапогом в пах. И так далее. Но ни о чем таком старый бог не рассказывал, во-первых, потому что мы жили в самой счастливой стране, и он боялся, что ребенок услышит, а во-вторых, никто бы ему не поверил, никто не поверил бы, что мертвые могут самовольничать. Да и в самого бога никто не верил, эти люди отказывали ему в статусе реальности. За исключением, может быть, Полины.

Так или иначе, но им явно пренебрегали, с демонстративной брезгливостью разгоняли ладонью махорочный дым /мальчику он очень нравился/ и не желали даже выслушать его мнение, хотя оно полностью совпадало с их мнением. Бог, в жилетке, которую пересекала цепочка из поддельного серебра, в белых пейзажах вылезших из-под ермолки, и с громадной самокруткой в беззубых устах, сидел на табурете

среди примусов и полок с кастрюлями и своим неуместным поддакиванием, глубокомысленным киванием бородой и всевозможными "вот! вот!, а что я говорил?" нарушал тонкую коммунальную дипломатию. Его позиция полностью совпала с их позицией и даже больше. Кашляя и изрыгая вонючий дым, он заявил, что Полина Сергеевна вполне заменила мать ребенку и что от добра добра не ищут. Мальчик давно заметил, что старик заискивает перед Полиной. Но женщины по-прежнему высокомерно игнорировали его присутствие, и никто ему не ответил.

Тогда-то в тот день, когда отец нарядился в вишневый галстук, и произошла история, о которой мальчик не мог вспомнить без стыда и содрогания. Дело в том, что некоторая интимная сторона его жизни, в которую Полина была посвящена совершенно естественным образом и без малейшего насилия над его стыдливостью /сколько раз она выговаривала ему за то, что он не умеет пользоваться бумажкой! — в ответ он лишь нагло передергивал плечами/, теперь, судя по всему, должна была открыться ей. Не говоря уже о пугающем вопросе, вдруг мелькнувшем перед ним: кто будет его мать? И вот, на пороге этого трудного будущего, в ответственный момент знакомства с красивой, смущавшей своею красотой, парадной и кокетливой дамой, — как он опозорился перед ней!

Как и отец он был при параде. Об этом необходимо упомянуть, потому что костюм сыграл роковую роль в этой истории. Он стоял на площадке, под доской с Тельманом, в скрипучих ботинках, в проклятых, предавших его парадных штанах, к тому же слишком коротких, при каждом шаге выглядывают резинки. Словом, он был одет, "как жених", эти слова в устах Полины прозвучали бесхитростным комплиментом, вполне свободным от задней мысли. Ибо от всех других женщин "ма" радикально отличалась тем, что никогда не говорила напоказ, то есть так, чтобы слова ее только по видимости были обращены к нему, а на самом деле предназначены для другого, — в данном случае для отца, которому

они действительно подошли бы гораздо больше. Мальчик знал, что для Полины он всегда был истинным адресатом, последней целью и конечной инстанцией. Увы, отец был в этом смысле небезупречен; и он заранее готовился к тому, что сейчас там наверху начнется лукавый, неестественный разговор, в котором он должен будет исполнять роль какой-то игрушки; отец и Желтая дама, таинственно улыбаясь, станут по очереди обращаться к нему, а на самом деле — друг к другу.

Он знал, что она встретит его в дверях льстивой, ослепляющей улыбкой и ему станет не по себе оттого, что она так прекрасна; ему, а не отцу, она скажет первое слово; но эта улыбка на самом деле предназначена не ему, и отец тоже знает об этом, только делает вид, что не знает, и усмехается. Но и его усмешка только для виду обращена к мальчику, а на самом деле — к ней. И поцелуй, который она наклеит ему на щеку /и будет потом стирать помаду удушливо-надушенным платком/, этот поцелуй будет лишь символическим актом, означающим что-то другое, а не то, что обыкновенно означает поцелуй. Причем же тут он? О, как тяжело играть в игру, где ты считаешься полноправным участником, а на самом деле ничего не понимаешь, ничего не выигрываешь, и не лучше ли было бы сразу, пока они еще не поднялись туда, вернуться и содрать с себя этот противный, тесный костюм.

"Трудящиеся, совместной борьбой..." Он переминался с ноги на ногу, по привычке держась за руку отца; возникла какая-то неловкость, заминка, нужно было идти, но отец медлил, уж не решил ли он в самом деле отменить экспедицию? Но отец оставался неуловим. "Веди себя как следует", — сказала Полина, в ее словах звучало наставительное понимание важности их визита. Это был как бы смотр ее воспитательных достижений, и она призывала не ударить в грязь лицом. Оглядела его от крахмального воротника до белых чулок и сверкающих ботинок, в который раз поправила бант. "Не испачкай костюмчик". Его костюм, пф! Можно было подумать, что мир перевернется, если он посадит на него пятно

от торта. Он был почти уверен: посадит. Но мир в самом деле преобразился с той минуты, когда он сменил застиранную одежку на этот претенциозный наряд, налагавший противоречивые обязанности, превративший его и в "большого", и в слишком уж маленького. Ибо в новом костюме он должен был играть сразу две роли, роль сурового послушника, безукоризненного отрока с книжкой в углу, и роль мальчишка-куколки, — голубой бант, шедевр Полины, обязывал его изображать ангелочка. Ненавистный бант, щекотавший под бородок и делавший его похожим на девчонку!

Они шагают по лестнице, и Полина, сложив руки на животе, умиленно глядит ему вслед. Он чувствует ее взгляд, но в последний момент, оглянувшись, делает неожиданное открытие: Полина смотрит не на него. Она смотрит на отца. Что-то проплывает, нет, стоит в ее парализованном взгляде, что-то такое, что наполняет мальчика мгновенным страхом, пронизывает догадкой. Как если бы вдруг оказалось, что под твердым полом, по которому ходят, на котором сидят и играют, находится темный подвал, где живут неизвестные существа. Но тут лестница поворачивает, впереди новый марш, мальчик тащится вслед за отцом, он цепляется за железные прутья и ждет, когда хлопнет внизу дверь. Дверь так и не хлопнула. Выше, выше; звонок. Желтая дама выпархивает навстречу, точно она уже стояла наготове за дверью, поцелуй, платок — все, как он предвидел. Через минуту он сидит на полу, на красном ковре, от которого слабо пахнет плесенью: в качестве образцово-показательного ребенка он разглядывает картинки, покрытые папиросной бумагой, в старинной полуразвалившейся книге.

Вот тогда и настало время произойти этой трагической истории. Уже давно, два часа назад, когда они сидели за столом посреди целого выводка веселеньких синих чашек с золотым ободком, таким же, как ее волосы /в тот день она была особенно хороша, оживлена и в то же время задумчива, ресницы ее были покрыты черной краской, и он ждал, когда один кусочек, висевший на самом кончике, упадет в чашку/, так вот, еще два часа назад, даже раньше, когда он разгляды-

вал на ковре приключения маленького лорда Фаунтлероя, или даже еще раньше, когда они шли наверх и он видел глаза Полины, устремленные на отца, еще тогда, как ему кажется, он чувствовал, что ему нужно сходить в одно место. Теперь это чувство заслонило все другие. По опыту он знал, что можно забыть о нем, если заняться чем-нибудь другим. И некоторое время это ему удавалось. Он твердо знал, что никакая сила на свете не заставит его попроситься, то есть в сущности только спросить дорогу т у д а : это значило бы навеки опозорить себя перед красивой, надо все-таки отдать ей должное, удивительно красивой дамой. Он терпел, потом забывал, вспоминал и снова терпел. И когда он предпринял сверхъестественные усилия, чтобы откусить от огромной глыбы торта, которую ему навалили на тарелку, и не запачкать проклятый бант, когда целый пласт, оторвавшись, таки шлепнулся, к счастью, не на штаны, а на скатерть, — то и этот несчастный инцидент, наполнивший его стыдом и горем, был в сущности подарком судьбы, так как отвлек его от неумолимо грызущего и нарастающего желания. Но ненадолго.

Его позвали за чем-то; он не мог встать с ковра и сделал вид, что вновь с необычайным интересом углублен в приключения маленького лорда. Потом наступил момент, когда он не мог сидеть и, прямой, как палка, проковылял гусиным шагом к окну; впивался там неподвижным взглядом в нечто далекое и неопределенное, стоя на цыпочках и сжав побелевшие губы. Отец беседовал с дамой. Вдруг отец встал и подошел к нему. Спросил вполголоса. "Да", — сказал мальчик жарким шепотом. Дама подпрыгнула, всплеснув руками. Бедняжка, почему он молчал! Точно это требовало объяснений, почему он молчал. Она повела его, упорно глядящего перед собой, по коридору, щелкнула выключателем, он остался один, близкий к обмороку, с бусинками пота на висках, полузадушенный своим бантом.

О-о, проклятье. Мальчик так торопился, что оставил пятно — вызывающе темное пятно на светлых штанах. Он все еще переводит дух, испытывая невыразимое облегчение, но по мере того, как он приходит в себя, ужас случившегося становится

ся все очевиднее. В струящемся шелесте электрического света он стоит над сверкающей чашей, оцепенело глядя в желтую лужицу с дрожащим маслянистым блеском, не зная, что предпринять. Ждать, когда высохнет?.. С судорожной торопливостью он стягивает с себя штаны и пытается выжать пятно над фаянсовой чашей. Тщетные старания, не выдавливаются ни капли. Он надевает их и с огорчением видит, что мятое пятно выделяется еще больше.

А дама? А отец?.. Они должны были спохватиться, обеспокоиться его долгим отсутствием. Наконец, просто проведать — как он там. Его всегда угрозами выгоняли из уборной, когда он сидел слишком долго.

И тут ему приходит в голову мысль — и успокаивающая, и страшная. Отец забыл о нем. Он просто забыл, настолько его поглотил разговор с дамой. А она — она, может быть, и помнит, возможно, догадывается, что у него что-то не в порядке, но ее это не волнует. Они оба слишком заняты. Им не до него! Эта мысль стоит перед мальчиком, словно написанная на стене.

С расставленными ногами он стоит, забыв спустить воду, оглушенный сознанием измены. Пятно постепенно бледнеет по краям. Струится свет, маслянистый отблеск слепит и гипнотизирует взгляд, кровь медленно стучит в висках у мальчика, на шее, он стоит и не слышит, не желает слышать идущие по коридору медленные, большие, долгожданные шаги отца.

ОН ИХ УВИДЕЛ

...Был человек, даже не человек, а горло, картонное, которое без устали говорило, пело и играло, всех развлекало, всех перебивало, вмешивалось во все разговоры и болтало, ничуть не смущаясь тем, что его не слушают. Неистощимое, оно постоянно напоминало всем, что оно здесь, и не обижалось, когда кто-нибудь рассеянно протягивал руку и выдергивал из гнезда вилку с лохматым проводом, который служил этому горлу вместо шеи. Стоило только зазеваться.

задуматься, стоило машинально протянуть руку к вилке, и оно оживало, бодрое и веселое, как ни в чем не бывало. Нет, оно тоже простужалось, как все, говорило сиплым голосом и натужно прокашливалось, но никто еще никогда не замечал, чтобы его феноменальное красноречие, его благословенная словоохотливость от этого сколько-нибудь пострадали, чтобы счастливый человек-горло хоть капельку приуныл. Он прикидывался то мужчиной, то женщиной, с утра пищал голосами детей из детского сада, благодарил за счастливое детство, потом, прочистив горло, начинал говорить голосом грозного и веселого дяди. Потом пел, хором или в одиночку, и играл на разных инструментах. Днем, отдохнув полчаса, картонный человек снова принимался говорить, почти всегда об одном и том же. Он говорил о родной стране. Эта была единственная в мире, неповторимая, неслыханно счастливая страна, так что за многие тысячи лет никто никогда не знал такого счастья, которое выпало гражданам этой страны. В сущности, люди всегда трудились, поэты сочиняли стихи, а крестьяне пахали землю для того, чтобы появилась такая страна, люди только и мечтали, чтобы дожить до такого счастья. И вот оно наконец наступило. В этой стране все улыбались друг другу, смех и звонкие песни не умолкали с утра до вечера, люди жили в просторных светлых домах, похожих на дворцы, ели все самое вкусное и шли на работу бодрым шагом, под музыку, стройными рядами, держа на плечах отбойные молотки, серпы и что там еще полагается держать. И, работая, продолжали петь. Словом, в этой стране можно было ни о чем не беспокоиться. Но чтобы было яснее, как замечательно живет в этой стране, черное горло мрачным погребальным голосом сообщало, что творится в других странах. Там происходило что-то ужасное. Там царил голод. Города состояли из трущоб. Тюрьмы и застенки были переполнены борцами. Помещики и капиталисты надели на шею всем трудящимся одну широкую петлю и с каждым днем все туже ее затягивали.

Но кто же был тот, кому обязаны были своим счастьем все граждане юной, прекрасной, могучей и справедливой страны, к кому тянули свои ручонки счастливые дети и на

кого с надеждой и любовью взирали угнетенные народы всех стран? Конечно, это был он, товарищ Сталин, это его окошко светилось в Кремле, чьи звезды, как петушки на палочках, сверкали над всеми странами и океанами, это он булькал водой из графина. После чего черное горло, свесив со шкафа свои заостренный зад, говорило кишечным, сдавленным голосом самого вождя. Он начинал с того, что, собственно говоря, ему говорить не о чем, все, что надо, им уже сделано, и поэтому получалось, что он вынужден говорить и вынужден терпеть бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Мальчик любил вождя. Когда нужно было дать честное слово, давал честное ленинское, сталинское и всех вождей, при этом само собой разумелось, что Ленин имел смысл лишь в том отношении, что был предком вождя, а "вожди" — Ворошилов, с кухонным ножом, Ежов в ежовых рукавицах, Молотов в пенсне и Каганович в фуражке с молоточками — постольку, поскольку они его обрамляли и выглядывали из-за его головы. Разумеется, мальчик знал, что однополый черный зад, сидящий на шкафу, лишь косвенно и отдаленно дает через себя поговорить вождю народов и, в сущности, не имеет с ним ничего общего. Он давно перешагнул возраст, после которого становишься хозяином собственной мифологии, и превратился из мифотворца в эстета. Ему не нужно было объяснять, что это горло, которое, как пес на цели, сидело на длинном проводе между папкой для нот и футляром-саркофагом, на самом деле и есть то самое, чем оно выглядит, — старый дребезжащий картон; но насколько интересней было видеть в нем живое существо! Мальчик усвоил опасную истину, согласно которой действительность моделируется нашим воображением.

Картон пел песни, частушки: в сущности, его цель состояла в том, чтобы отвлекать от нехороших мыслей и прогонять дурное настроение. Что он и осуществлял весьма успешно. Таким образом, то, что он не умолкал ни на минуту, имело резон. Ведь дурные мысли могут придти в любое время. Но эта сорока-белобока была всегда себе на уме и, может быть, притворялась глупее, чем была на самом деле. В конце кон-

цов всегда или почти всегда было ясно, чем она кончит фразу, едва лишь она ее начинала, и от этого казалось, что она выражает ваши собственные мысли. Картон стал членом семьи.

Картон сыграл марш "Если завтра война", слегка раздраженный тем, что эту войну обещали каждый день, каждый день ее откладывали на завтра, а она все не наступала. Он исполнил песню о вожде, в которой были слова "с песнями любви и изобилья": это И-И-И тягучим эхом неслось потом через все тридцать лет. Картон объявил арию Хозе. "Кармен, тебя я ува-жа-аю!.." — заорал мальчик. Раздался грохот, из другой комнаты зашлепали быстрые шаги. Картон запел арию Герцога. Снизу послышалось: "Сердце краса-авец! Словно кызме-е-не".

Услышав эту ужасную абракадабру, говорящий картон не мог усидеть на шкафу. Со словами: "И к перемене! Как ветер мая!" он спрыгнул на пол, волоча за собой провод, стал приплясывать перед мальчиком; так они спели сообща оба куплета. И вдруг раздалась три звонка. Три протяжных звонка в коридоре.

Это не могла быть тетка, ее звонки были короткие и суетливые. Это не мог быть отец. Отец не приходил днем. Выбежала Полина, зашпешила по коридору. Из комнаты напротив выглянула соседка, Анфиса Федоровна; в дверях своей каморки появилась сухая и плоская, точно голова старой черепахи, головка старой Марьи Александровны.

Широко, до отказа растворился парадный вход, молчаливый и небритый человек вошел боком и отколупнул верхний запор. Все с любопытством наблюдали это событие. Затем в зияющем распахе дверей, откуда дуло холодом, показался снова тот же человек, спиной вперед, он обнимал гигантскую плетеную корзину. Чудовище, подобное букве Н, где корзина служила перекладной, вдвинулось в коридор и пошло медленными шажками четырех ног прямо к их двери. Мальчик пролез, мешая им, в первую комнату и стал рядом с Полиной. Ее рука опустилась и привлекла его к себе, к животу. Двигаясь все так же, задевая плечами за косяки и едва не сорвав занавеску в прихожей, носильщики достигли первой комна-

ты, густой голос спросил: куда ставить? Все это происходило медленно, тяжело и неотвратно. Блестел паркет, картонный рупор смиренно помалкивал на шкафу, но посреди комнаты, на дороге, алело похожее на редиску рыцарское сердце, картинно пронзенное мечом. Над ним вилась лента с девизом "Я Воскресение и Жизнь", представлявшим такое нагромождение ошибок, что прочесть его могла только Полина. Задники сапог надвигались на него. "Щит!" — закричал мальчик, фанера хрястнула, человек машинально отшвырнул ее в сторону. Такими же инстинктивными шаркающими движениями раскидал он кубики, нога наступила на адмирала Нельсона и потащила его за собой. Наконец, корзина была водружена на отведенное ей место. Носильщики, не дав себе передохнуть, пошли за другими вещами. Явился китайский шкафчик с перламутровыми уголками. Принесли две спинки эмалированной кровати, повесив их на каждое плечо. Втиснулся, взбрыкивая изогнутыми ножками, овальный туалетный столик. Все это были кокетливые, прихотливые вещи, рядом с которыми убогие вещи отца выглядели плебеями. Сразу стало тесно. Мальчик сел на корзину, "Слезай сейчас же!" — накинулась Полина. Могла бы и потише. Подумаешь, стекляшки. Как-то само собой получилось, что крышка плетеной корзины приподнялась, из нее явилась граненая склянка с затейливой финтифлюшкой вместо пробки. Сверкая гранями, точно брусок желтого льда, она неожиданно выскользнула из рук и шлепнулась, выронив пробку. Духи разлились, распространяя удушливый запах. "Ведь вот, говорила же!.." — прошипела Полина. Мальчик бросился в прихожую, успев захватить помаду и пудру, мгновенно разукрасился перед зеркалом. И в таком виде предстал перед робко остановившейся на пороге золотоволосой, кареглазой, стройной, как стебелек, растерянной и счастливой дамой.

Итак — свершилось.

Цс-с... Не шуметь. Не двигаться, не шевелиться, не чихать, не пукать. Не Ды Шать. Осмотреть местность. Мальчик ощупью находит на животе кнопку. Нажимает: открываются глаза. Сначала один глаз. Обе двери, в прихожую и туда, к

н и м, наглухо закрыты; за окошком щебечут птицы, кирпичный брендмауер косо освещен солнцем; как всегда по воскресеньям, утро кажется очень ранним: везде, на дворе и на улице, тишина.

Он не успел еще привыкнуть к этой комнате, к низкому дивану, на котором спала тетка; теперь это его диван. Недурно: широко и мягко. И вдруг, мгновенно вскочив, он сбрасывает одеяло и сидит, уперев кончики босых ног в холодный пол. После минутного колебания он пускается на разведку вокруг стола. Удивительное чувство голых шелковистых ног, задевающих друг за друга, колыхание рубашки, тишина, тайна, и вот он уже достиг цели. Внезапно в большой комнате взрывается треск, от которого мальчик едва не падает в обморок, громадное сердце тяжело колышется в его маленьком теле, в такт замирающим щелчкам: это последние, бессильные корчи будильника, который не завели, но забыли придавить накануне; отец кладет на него, не просыпаясь, большую ладонь, и вновь все тихо.

Медленно, медленно скрипит дверь, лицо мальчика протискивается в щель. Занавески нет, висит одна веревка. Нет иконы, нет и кровати, где спала "ма", ничего нет. В углу стоит веник. Он удивлен, то есть не удивлен, он это знал, но почему-то забыл. В эту минуту он неожиданно замечает, что за спиной у него, за закрытой дверью, в большой комнате, — не спят.

Они не спали, но и ничем не выдали себя; он уловил их присутствие не слухом, а чем-то, что обгоняло слух. Возможно, они лежат, скосив взгляд, и прислушиваются. Возможно, кто-нибудь из них подкрадывается на цыпочках. Сейчас дверь распахнется. А, негодяй! Он подслушивал!

Он застыл, растопырив руки, ждал до головокружения. Никто не появился. Посреди текучей, шелестящей тишины до него донесся простой и обыкновенный звук — хорошо знакомый ему вздох старой никелированной кровати. О, Господи. Ведь они просто спали. Спали и поворачивались во сне, как все взрослые по воскресеньям. Время от времени скрип возобновлялся, они не произносили ни слова, не шептались, не спрашивали вполголоса, который час. Ах, будь здесь старик, бог детства, он бы схватил его за руку и увел на

кухню. Где ты, бабушка? Мальчик подошел к двери и услышал молчание: оно было полно необъяснимых звуков. Дверь стала приоткрываться. Вещи жили вокруг него, так и эта дверь сама собой принуждала его посторониться. Он уступил ей, он стоял на пороге в ярком свете утреннего солнца, бьющего с улицы, он был ослеплен этим потоком света и очарован новой мыслью. Его не могли заметить, даже если бы они не спали, ведь он был невидим!

Он был невидим, зато сам видел всех. Человек-невидимка, а что тут такого?.. Несчастный Гриффин, он бежал по ослепительно яркому, залитому солнцем снегу, и лишь глубокие следы от босых ног один за другим впечатывались, уходя все дальше и дальше. По этим следам, следя за их поворотами, стреляли... Человек-невидимка. Вещь вполне естественная.

Он представил себя со стороны: длинная белая рубаха в пустоте над сверкающим паркетом. Пустой ворот, поднятый вверх рукав, все, что осталось от невидимой руки, от пальца, ковыряющего в невидимом носу. И вдруг рука опустилась. Непонятная новость, вместе с жарким, все учащавшимся дыханием там, на кровати, вывели его из прострации; высунув голову из-за дверного косяка, он смотрел с глубоким недоумением на то, что происходило за никелированными шарами.

Солнце, вставшее над крышами, било из двух больших окон, ослепляя его, блестели шары, ярко переливалось новое шелковое одеяло, наконец, он увидел, — но кого? Бесформенное существо, вздымавшееся под одеялом. Тяжкое дыхание, звук борьбы. Он увидел бледно-золотистые волосы красивой дамы, спутанные волосы женщины, накрывшие и ее, и отца, потому что тот, кого она поборола, подмяла под себя, над кем она билась и кого приканчивала, — был его отец.

Но тут она застонала, словно ей самой медленно погрузили нож в низ живота. Жалобный стон перешел в долгий вздох, и на глазах у мальчика она скончалась. Они оба умерли, обняв друг друга. Наступила тишина. Солнце пылало в окнах. Мальчик плакал.

И хотя довольно скоро стало ясно, что ничего страшного

не произошло, он ничего не мог с собой поделать и навсегда утратил способность быть невидимым. Они разъединились, она приподнялась, придерживая на груди край розового одеяла. "Ты уже проснулся?" — спросила удивленно. На лице ее был странный свет. Мальчик смотрел в пол, ноги у него ооченели, и он громко икал.

Тогда она сбросила одеяло, мелькнули ее ноги, повернувшись спиной, она запахнула халат и собрала на затылке волосы. "Ну, пошли", — мягко сказала она. Она вытерла ему щеки крошечным кружевным платком, заставила его высморгаться. Он тупо поплелся за ней.

Мальчик уснул, но спал недолго. Открыв глаза, он увидел, что солнце ушло с кирпичного брандмауера, двор наполнился густой синевой, он вспомнил, что из прихожей вынесли кровать и убрали занавеску, на мгновение увидел снова рыжий свет над крышами и никелированные шары. Он устроился поудобнее. Подложив руки под голову, он лежал на спине, глаза его блестели белым, неподвижным блеском, как вода в озерах.

Он был спокоен и суров. С холодным любопытством ждал, что она теперь предпримет. Как она начнет подлизываться.

Она вошла, напевая. Она, это было теперь ее единственное имя. "Тетя" не годилось; называть ее мамой, как наставляла его Полина, было немыслимо. Итак, она подошла и присела на край дивана. Волосы перевязаны сзади ленточкой.

"Мы будем друзьями, да?" — сказала она глубоким грудным голосом, в который вложила все свое очарование. Он смотрел мимо нее.

"У, какой злюка". Она пощекотала ему подбородок. Мальчик засмеялся. "Ну, посмотри на меня".

Он взглянул на нее блестящими, полными ненависти глазами. Он не знал, как ему выразить эту ненависть. "Уходи, — сказал он раздельно. — Уходи от нас. У, с-сука. Пошла вон от нас! Чтоб твоего духу!"

И умолк, несколько удивленный ее молчанием. Он с особенным сладострастием выговорил это слово с его ядовитым и разящим, как стрела, "с", выпустил его прямо в нее и ждал

бурной реакции. Но она молчала. Задумчиво смотрела на него, подперев подбородок узкой рукой с лакированными ногтями.

Потом, вздохнув, она встала. Мальчик думал, что она начнет собирать вещи. Она коснулась рукой волос и направилась в большую комнату, к отцу. В большой комнате тихо играло радио. Она прикрыла за собой дверь. Но он все равно услышал бы их разговор. Может быть, отец спал? Она вернулась, снова села к нему на диван и посмотрела на мальчика непостижимым взглядом, какой он иногда замечал у взрослых, — на него и в то же время сквозь него.

"Ты прав, — проговорила она, — дети всегда правы, но Боже мой, я ведь не навязывалась! Я сама говорила".

Он уловил новую интонацию в ее голосе, она признавала себя побежденной и не старалась больше его обворозжить. Он позволил себе некоторую снисходительность. Милостиво слушал, подложив руки под голову.

"Да, ты имеешь полное право так говорить... Но причем тут я? Вы все меня ненавидите. За что? Что я вам сделала плохого? Прямо заговор какой-то. Эта горбунья, похожая на бабу-ягу... Или эта, как ее... с заячьей губой?"

"А, — процедил мальчик. — Анфиса?"

"Послушай... Кто этот старик, о котором они все время говорят? Разве у тебя есть дед?"

"Какой дед, — сказал мальчик презрительно. — Это бог".

"Бог?"

"Ну да. Вообще-то его нет, но он иногда сидит на кухне. Такая игра", — пояснил он.

"Сумасшедшая квартира. Ты знаешь, — продолжала дама, горячо глядя на него, — я их боюсь. Честное слово. Особенно эту с губой. Мне кажется, она что-то замышляет. А?"

"М-м... как сказать?" — замялся мальчик, польщенный тем, что она обращается к нему, как к взрослому, и совершенно не имея представления, что ответить.

"Я так боялась выйти на кухню, что поднялась к себе наверх и там приготовила обед. А вечером прихожу, она стоит, представляешь себе?.."

Мальчик напряг внимание, все еще не понимая, что она имеет в виду.

"Представляешь, и запела: За красу я получила первый прыз, все мужчины исполняют мой капрыз!.. Ты думаешь, для кого она это пела?"

Да, завершение этого слишком затянувшегося утра можно было назвать счастливым: ибо оно закончилось как-никак примирением. Щеки дамы порозовели, она старалась успокоиться, прижимая к ним тыльной стороной пальцы с прохладными полированными ногтями. Но что-то изменилось.

Догадывалась ли она, что облегчение наступило просто благодаря двум-трем фразам, которыми она обменялась с мальчиком, этим бедным, запущенным сорванцом, за чье воспитание она теперь, будьте покойны, возьмется? Ибо если он бесконечно затруднял и усложнял жизнь взрослых, то ведь он же и служил для них чем-то вроде громоотвода. Но главное — это был неожиданный смех мальчика. Услыхав про "капрыз", он расхохотался, как безумный!

Этот смех все развеял.

"Клянусь тебе, я никогда..." — говорила она взволнованно.

"Ка... прыз", — лепетал мальчик. Время пафоса миновало.

Она тоже смеялась.

Так прошло несколько минут, а затем смех прекратился. Мальчик сердито посмотрел на даму и показал ей язык.

Озадаченная, она сказала: "Ах ты, маленький злюка".

И тоже высунула язык.

В ответ мальчик надул щеки, напрягся, не спуская с нее глаз, стал медленно краснеть и вдруг пукнул.

"Фу, — сказала она брезгливо. — Какой срам".

Он не знал, что ей еще ответить, и сказал:

"А я знаю".

"Что ты знаешь?"

"Я видел".

"Ну и что? — сказала она, глядя ему в глаза. — Глупец".

Мальчик почувствовал, что его преимущество слегка обесценилось. Тайна выглядела уже не столь жгучей. Возможности

шантажа уменьшились.

"Когда люди любят друг друга, — сказала она, — это не стыдно. Вырастешь, поймешь. И потом, если бы этого не было, то и тебя бы не было".

"Как это?" — спросил он.

"А вот так. Ты хочешь, чтобы у тебя была сестричка? Так вот, без этого она не родится".

Он был сбит с толку; какая еще сестричка. Что она там несет? Не хотел он никакой сестрички. Он хотел быть один, с отцом. И с Полиной. И чтобы никого больше не было.

"Дурачок, — пропела дама. — Иди ко мне".

Очевидно, как все женщины, она полагала, что таким способом можно разрешить все проблемы.

Он колебался.

"Ну?.."

Что-то произошло. Он сидел на коленях у женщины, которую не хотел признавать, к которой был равнодушен, если не считать какого-то раздражающего любопытства, которое влекло его к золотоволосой даме, и все же было приятно раскачиваться и слушать, как она мурлыкает: "спи глазок, спи другой". И еще что-то в этом роде... Спи глазок! У него было чувство, словно он в чем-то безвозвратно вязнет.

"Не надо", — сказала она запахиваясь.

"Нет, — прошептал мальчик. — Что это?"

"Это грудь. Не надо, будь хорошим".

"Какой большой". Сосок затвердел в его руке. "Я хочу туда, пусти", — сказал мальчик, стараясь раздвинуть полы халата.

"Нельзя. У мамы нельзя смотреть".

Это был рискованный шар; и она постаралась как можно небрежней произнести это слово.

Он сделал вид, что не слышал.

"Ну, хватит". Она встала и подошла к двери в большую комнату.

"Илюша! Хватит спать".

Мальчик не сообразил, к кому она обращается, потому что это было и его имя, и никто при нем еще не звал так отца. И

он понял, как много между ними стоит нового и чуждого.

"Илюша, — в голосе дамы появилось нечто кокетливое, — можно нам к тебе? Мы теперь друзья!"

ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Мальчик стоял, выпучив глаза, с видом героического самоотвержения, влача смычок по струнам; в программе — Шрадик, "Упражнения", "Ария" К.В. Глюка, "Ригодон" неизвестного классика, фамилия была оборвана, и ряд других произведений; но уголком глаза он следил за "мамой". Она удалилась на цыпочках, деликатно прикрыв за собой дверь. Ее каблучки простучали по коридору, хлопнуло парадное, и сейчас же он бросил скрипку, схватил стул и потащил в прихожую. Это было непростым делом, принимая во внимание, что то, что он искал, находилось в самой глубине, среди батареи пыльных склянок; путь преграждали велосипедные колеса, одно из которых всегда вращалось, напоминая о том, что и земля не стоит на месте, — здесь, наверху, это чувствовалось, пожалуй, еще отчетливее. Он чуть не полетел вместе с табуреткой, водруженной на стул, рискуя обрушить на себя ветхую антресоль, все же операция была доведена до благополучного конца. Но теперь нужна была особая осмотрительность. Она появилась как раз в тот момент, когда он шел с кухни — отнес табуретку и заодно проверил, растворяется ли эта вещь в воде, — как раз в эту минуту раздалась три звонка. Беспечная, как все женщины, она не заметила, что стул стоит в прихожей, а мальчик тянет все то же ларго, от которого можно повеситься. Она позвала его нежным голосом, предлагая на время прервать самоотверженный труд.

На столе стояло молоко и коржики, которые она испекла, это было одно из ее нововведений, пить в двенадцать часов молоко, и чтобы подать пример, они пили вместе. Мальчик был благонравен. Он уселся, в точности не представляя, как он осуществит свой план, но тут весьма кстати зазвонил телефон. Она встала и пошла в коридор. Звонили ей. Он вытащил из кармана спичечный коробок. Потом он побежал и

бросил коробок в форточку. Сел. Она все еще разговаривала.

Когда она вошла, мальчик размешал молоко и подвинул ей чашку. Так решил тайный суд, заседавший под сводами подземелья: все в черных капюшонах, закрывающих нижнюю половину лица. "Что с тобой?" — спросила она. "Ничего, — сказал он. — Пей".

Она улыбнулась. Победа за победой; правда он еще никак ее не называет, но уже говорит ей "ты".

"Хитрец. Я выпью, а ты нет".

"Подумаешь, — сказал он. — И я выпью".

"Умница".

Она откусила коржик. Он не сводил с нее глаз. Радио шелестело на шкафу. Что-то не нравилось ему в его плане, что-то не то, но раздумывать некогда. Внезапная идея озаряет мальчика, он выхватывает чашку из ее рук, быстро пьет и больше уже ни о чем не думает: его захлестывает неистовая радость. Тотчас начинается рвота, он корчится на диване, кажется, все внутренности лезут наружу, но ничто не в состоянии заглушить эту бешеную, жестокую, злую радость.

А колеса вращаются, повинуюсь кружению земли, а веселый человек шепчет в черном картоне, а солнце косо освещает розовый брендмауер, встает над кирпичным домом, и плакат на углу сморщился, отчего штык, похожий на кухонный нож, переломился надвое, и на улице у подъезда стоят кучкой люди.

Веселый, бессмертный человек, он поет во все горло в окне кирпичного дома напротив, уже совсем тепло, и женщина с голыми ногами моет раму. Он живет всюду, говорит со всеми, неунывающий человек-горло, и ведь правда — до чего замечательно все на свете! Как прекрасна жизнь! Но никто не радуется.

Вот степенно, как на демонстрации, выходит шествие из-за угла, медленно идут друг за другом: Полина, в монашеском уборе, с ней рядом Святитель в белом, в белых лаптях и

с золотой подковой вокруг головы, за ними старый бог детства с седыми пейсами и цепочкой из поддельного серебра, за ним Тельман в красной рубашке, рот-фронт, держит кулак; за Тельманом еще много всякого народу, несут на палках портреты вождя и портреты мальчика. Все выстраиваются у подъезда. Конечно, так не бывает. Конечно, это только фантазия, просто люди собрались перед подъездом, ждут и тихо переговариваются. Тут кто-то спрашивал, как называется эта отравка. Так я вам отвечу. Крысид. Хорошенькое название, а? Вот именно, от крыс. Вскрытие показало. Должно быть, несчастный случай. Вот что значит оставлять детей без присмотра.

Да как же без присмотра, ведь она даже бросила работу, чтобы с ним сидеть. Ха, тоже мне работа. Машинистка в конторе, помогать кому делать нечего. Вертихвостка, прости господи. Все они такие. А знаете ли вы, где ее муж. Вот тот-то и оно. Свою собственную дочь оставила, не то что за чужим смотреть.

Но тут все речи смолкают, и картонный человек поспешно сворачивает ноты, потому что в это время вдали на Спасской башне начинается неспешный мелодичный звон. Пикают сигналы точного времени. Из темной квартиры на площадку, где пахнет крысами, на весеннюю улицу, в переулок, полный прохладной синевы, плывет узкий деревянный челн. Суется, грозным шепотом распоряжается тетка, Эсфирь Ильинична.

Открываются задние дверцы. Все хотят помогать, все лезут, до чего бестолковый народ. Шофер сам, отстранив всех, вдвигает мальчика в темный, как погреб автобус. И, как широченные рукава, как руки, разведенные в танце, над всем переулком плывет: "Широка страна моя родная".

Выходит отец. Об отце-то все и забыли. Он выходит, держа в руках щит с алым, пробитым насквозь сердцем. Лезет в автобус, ничего не получается, шофер ведет его, как слепого, с растрепанными, развевающимися волосами, показывает, куда сесть.

А где же она? Говорят, ушла наверх, в старую квартиру, лежит не может встать.

В тот самый момент, когда шофер захлопывает задние дверцы, предлагает гражданам посторониться, из-за поворота, но не оттуда, откуда шла демонстрация, а с противоположной стороны, раздаётся звон, бряцают подковы, и выезжают закованные с головы до ног всадники. Они останавливаются, лошади в малиновых пополах грызут железные удила и переступают копытами. Синь небес отражается в серебряных латах. Рыцари опускают копья. Конечно, так не бывает. Просто из-за угла мелко стуча копытцами, бредет ослица. Трусит вдоль тротуара, бренчит колокольчиком. А на ослице едет Спаситель. Оказывается это не соседи столпились перед автобусом. Это ученики, это окрестные крестьяне, бродячие торговцы амулетами, цыганки, высматривающие детей, словом, всякий люд. Но и это, конечно, выдумка, потому что так не бывает

— Эй! Мальчик!

Это возглас любви и жалости.

— Мальчик! Выходи!

*ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ*

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
461 WEST 8 STREET
NEW YORK, N. Y. 10001, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*



Милан КУНДЕРА

ПРОПАВШИЕ ПИСЬМА

1

Я подсчитал, что каждую секунду рождаются и получают имена два-три вымышленных героя. Поэтому я всегда теряюсь, когда вынужден включиться в эту бесконечную вереницу Иоаннов-крестителей. Но что же делать, как-то ведь я должен их назвать. И вот, чтобы на этот раз было ясно, что моя героиня принадлежит мне и никому другому /она дорога мне больше всех/, я даю ей имя, которого не было еще ни у одной женщины: Тамина. Я вижу ее красивой, высокой, ей 33 года, родом она из Праги.

Я вижу в своем воображении, как она идет по улице провинциального городка Западной Европы. Да-да, вы совершенно верно подметили: Прагу, которая далеко, я называю по имени, а городок, в котором происходит действие моего рассказа, оставляю анонимным. Это противоречит всем законам перспективы, но у вас нет другого выхода, как смириться с этим.

Глава из "Книги смеха и забвения".

Тамина работает официанткой в принадлежащем супружеской паре небольшом ресторане. Они вдвоем зарабатывали так мало, что мужу пришлось пойти на другую работу, а вместо него наняли Тамины. Разница между небольшим заработком мужа на его новой работе и еще меньшим заработком Тамины составляет их небольшой доход.

Тамина разносит посетителям кофе и кальвадос /посетителей немного, ресторанчик чаще всего заполнен наполовину, но в нем есть бар/. На высоких табуретках, у стойки бара, почти всегда сидит кто-то, кому хочется поболтать с Таминой. Ее любят все. Дело в том, что Тамина умеет слушать, о чем ей рассказывают люди.

Но слышит ли она их? Или просто внимательно и молчаливо смотрит? Не знаю. Да это и не важно. Важно то, что она их не перебивает. Знаете, как двое разговаривают? Один говорит, а второй перебивает: "Это похоже на то, как я..." и начинает рассказывать о себе, пока тому первому не удастся вставить: "Это похоже на то, как я, я, я...".

Предложение "Это похоже на то, как я..." выглядит, как согласие, как продолжение мысли собеседника, но это обман: в действительности это вооруженное восстание против жестокого насилия, это отчаянная попытка освободить из плена собственное ухо и штурмом захватить ухо противника. Потому что вся жизнь человека среди людей — это всего лишь борьба за чужое ухо. Секрет Тамининой привлекательности в том, что она не хочет говорить о себе. Она принимает оккупантов своего уха без сопротивления и никогда не говорит: "Это похоже на то, как я...".

2

Биби на десять лет младше Тамины. Вот уже почти год, как она ежедневно рассказывает ей о себе. Недавно она сказала ей /с этого момента все, собственно, началось/, что летом она с мужем собирается побывать в Праге.

В это мгновение Тамина как бы пробудилась от многолет-

него сна. Биби еще говорит, а Тамина /вопреки своему обычаю/ перебивает ее:

— Биби, если вы поедете в Прагу, вы не могли бы зайти к моему отцу и кое-что мне привезти? Это небольшой предмет! Всего лишь маленький пакет, вы его можете запросто положить в чемодан!

— Для тебя — все, — с готовностью ответила Биби.

— Я буду очень благодарна тебе, — сказала Тамина.

— Можешь на меня положиться, — сказала Биби, и обе женщины еще несколько минут говорят о Праге, а у Таминины горят щеки.

Потом Биби скажет:

— Я хочу написать книгу.

Тамина думает о своем пакете в Чехии и понимает, что ей надо сохранить расположение Биби. Поэтому она сразу предлагает свое ухо:

— Книгу? О чем?

Годовалая дочка Биби вертится под табуреткой, на которой сидит мать, и ноет.

— Тихо, — бросает Биби вниз, а потом задумчиво выпускает дым сигареты. — О том, как вижу мир я.

Ребенок ноет все громче, а Тамина спрашивает:

— Ты думаешь, ты сможешь написать книгу?

— А почему нет? — говорит Биби и снова задумывается. — Мне, конечно, нужно немного разузнать, как, собственно, пишется книга. Ты не знаешь случайно Банаку?

— Кто это? — спрашивает Тамина.

— Писатель, — говорит Биби, — он живет здесь. Я должна с ним познакомиться.

— Что он написал?

— Не знаю, — скажет Биби и задумчиво добавит. — Наверное, мне следовало бы что-нибудь прочесть.

3

В трубке должен был послышаться крик радостного изумления, но вместо этого раздалось:

— Чего это ты вдруг вспомнила?

— Знаешь, у меня не совсем благополучно с деньгами. Телефон дорог, — оправдывалась Тамина.

— Можно написать! Марка, наверное, не так уж дорога! Я даже не помню, когда я получила от тебя последнее письмо!

Тамина поняла, что разговор со свекровью начинается плохо, поэтому она долго расспрашивала, как свекровь живет и что делает, прежде, чем решилась сказать:

— У меня к тебе просьба. Когда мы уезжали, мы оставили у тебя пакет.

— Пакет?

— Да. Мы с Миреком закрыли его в ящике отцовского письменного стола. Помнишь, у Мирека там всегда был свой ящик. А ключ он дал тебе.

— Я понятия не имею о ключе.

— Мама! Он должен быть у тебя! Мирек наверняка дал его тебе! Я видела это!

— Ничего вы мне не давали.

— Прошло уже много лет и, может быть, ты забыла. Пожалуйста, посмотри, где этот ключ. Ты обязательно найдешь его!

— А что мне с ним делать?

— Посмотри только, в порядке ли пакет и на месте ли он.

— А почему ему там не быть. Ведь вы его туда положили?

— Положили.

— Так зачем я должна открывать ящик? Вы думаете, что я что-то сделала с вашими тетрадами?

Тамина растерялась: откуда свекровь знает, что там тетради? Они ведь были завернуты, а пакет тщательно заклеен. Но она не показала вида, что удивлена.

— Я этого не говорю. Я просто хочу, чтобы ты посмотрела, все ли там в порядке. Я позвоню снова и скажу, что дальше.

— А ты не можешь объяснить, в чем дело?

— Мама, я не могу долго говорить. Это так дорого.

Свекровь расплакалась:

— Так не звони, если это так дорого!

— Не плачь, мама, — сказала Тамина. Она знала ее плач наизусть. Она всегда плакала, когда чего-то хотела. Она обви-

няла ее своим плачем, и не было ничего агрессивнее ее слез.

Трубка дрожала от рыданий, и Тамина сказала:

— До свидания, мама. Я снова позвоню.

Свекровь плакала, и Тамина боялась положить трубку, пока не услышит прощального приветствия. Но плач не прекращался, а каждая слеза стоила много денег.

Тамина положила трубку.

— Мадам Тамина, — сказала хозяйка ресторана с упреком, бросив взгляд на счетчик, — вы говорили очень долго. Потом подсчитала, сколько стоил звонок в Чехию, и Тамина пришла в ужас от цифры. Она должна была считать каждую копейку, чтобы уложиться до зарплаты. Но даже глазом не моргнув, она заплатила.

4

Тамина с мужем уехали из Чехословакии нелегально. Они поехали с группой туристов к морю, в Югославию. Там они отстали от группы и через Австрию поехали на Запад.

Для того, чтобы не обращать на себя внимание группы, каждый из них взял лишь один небольшой чемодан. Пухлый пакет, в котором была их переписка и Таминыны дневники, они в последнюю минуту побоялись взять. Если бы таможенник оккупированной Чехословакии открыл во время таможенного осмотра чемодан, у него сразу бы возникло подозрение, что они, уезжая на две недели к морю, везут с собой свой личный архив. Но, не желая оставлять пакет в квартире, так как знали, что после их побега она будет конфискована, они отнесли его к свекрови и положили в стоящий без употребления письменный стол покойного отца.

За границей муж заболел, и Тамина беспомощно смотрела, как его медленно уводит смерть. Когда муж умер, ее спросили, хочет ли она его похоронить или предать тело кремации. Она велела тело мужа сжечь. Ее спросили, хочет ли она получить урну с пеплом или развеять его. У нее не было дома, и она испугалась, что ей придется носить мужа всю жизнь, как ручную кладь. Поэтому она велела развеять пепел.

Я вижу в своем воображении, как поднимается ввысь вокруг Тамини мир, как круглая стена, а она — это трава внизу, на дне. И из этой травы, как роза, вырастает память о муже.

Иногда я вижу в своем воображении, что Тамино настоящее /которое состоит из того, что она подает кофе и отдает в распоряжение свое ухо/ — это паром, который плывет по воде, а она сидит на нем и оглядывается назад, только назад.

Но в последнее время ее приводило в отчаяние, что прошлое становится все бледнее. На память о муже у нее всего лишь фотография из паспорта, все остальные остались в конфискованной квартире в Праге. Она смотрит на помятую фотографию с оторванным уголком, на которой муж снят в анфас /как преступник, сфотографированный в полиции/, и он не очень похож на себя. Ежедневно, глядя на фотографию, она делает какие-то умственные упражнения: она старается представить себе мужа в профиль, потом в полупрофиль, потом, слегка повернувшись в сторону. Она повторяет в воображении линию его носа, подбородка, и каждый день пугается, что на этом воображаемом рисунке появляются новые спорные места, где ее рисующая память поколебалась.

Во время таких упражнений она пыталась представить себе его кожу, ее цвет и все мелкие изъяны, бородавки, родинки, веснушки, прожилки... Это было трудно, почти невозможно. Краски, которыми пользовалась ее память, были ненастоящими, и невозможно было нарисовать ими человеческое тело. Это привело ее к особой технике воспоминания. Когда она сидела напротив какого-нибудь мужчины, то пользовалась его головой как материалом для ваяния: она смотрела на его голову в упор и в воображении переделывала его лицо, придавала ему более темный оттенок, помещала на нем веснушки и бородавки, уменьшала уши и перекрашивала глаза в голубой цвет.

Но все эти усилия доказывали лишь то, что образ мужа исчезает безвозвратно. Когда они только начали встречаться, он просил ее /он был на десять лет старше и уже тогда имел определенное представление о несовершенстве человеческой памяти/ вести дневник и записывать для них обоих их жизнь.

Она отнекивалась и говорила, что это насмешке над любовью. Она слишком любила его и не допускала, чтобы то, что ей казалось незабываемым, может забыться. В конце концов, она уступила, но без воодушевления. Дневники свидетельствовали об этом: в них было много пустых страниц, а записи были куцыми.

5

Она прожила с мужем в Чехии одиннадцать лет, и дневников, что остались у свекрови, было одиннадцать. Вскоре после смерти мужа она купила тетрадь и разделила ее на одиннадцать частей. Ей удалось восстановить многие полузабытые события и ситуации, но трудно было решить, в какую честь тетради поместить их. Хронологическая последовательность событий терялась безвозвратно.

Вначале она хотела оживить воспоминания, которые могли бы стать ориентиром во времени и создали бы канву реконструированного прошлого. Например, их отпуска. Их должно было быть одиннадцать, но ей удалось вспомнить всего лишь девять. Два отпуска были забыты навсегда.

Эти девять найденных отпусков она пыталась включить в отдельные разделы тетради. Но с уверенностью она могла это сделать лишь в тех случаях, когда год был чем-то примечателен. В 1964 году умерла мать Тамини, и месяц спустя они уехали в грустный отпуск, который провели в Татрах. Она знает неверняка, что на следующий год они поехали в отпуск к морю, в Болгарию. Она помнит также отпуск в 1968 году и в следующем году, так как это были последние отпуска, которые они провели в Чехии.

И если она еще как-то сумела реконструировать большинство отпусков /хотя некоторые из них не могла увязать с годом/, то, пытаясь вспомнить рождественские и новогодние праздники, она потерпела полную неудачу. Из одиннадцати рождественских праздников в ее памяти сохранились лишь Два, а из новогодних вечеров — пять.

Она хотела вспомнить имена, которыми он ее называл. Ее настоящим именем он звал ее всего лишь первых четырнадцать дней. Его нежность была машиной, непрерывно производящей ласковые прозвища. У нее было много имен и, как будто они быстро изнашивались, он давал ей новые и новые прозвища. На протяжении прожитых вместе двенадцати лет у нее было, наверное, двадцать-тридцать имен, и каждое относилось к определенному периоду их жизни.

Но как восстановить эту утерянную связь между прозвищем и ритмом времени? Тамине удастся сделать это лишь в нескольких случаях. Она вспоминает, например, дни после смерти матери. Муж шептал ей на ухо ее имя /имя того времени и той минуты/ настойчиво, как бы пробуждая ее от сна. Это прозвище она помнит и может с уверенностью вписать его в раздел под заголовком "1964". Но все остальные имена свободно и взбалмошно летают вне времени, как птицы, вылетевшие из вольера.

Поэтому она так отчаянно старается получить этот пакет — с дневниками и письмами.

Она знает, что в дневниках много нехорошего, дни недовольства, ссор, да и скуки, но не в этом дело. Она не старается вернуть прошлому его поэзию. Она хочет вернуть утерянное тело прошлого. Ею движет не тоска по красоте. Ею движет тоска по жизни. Тамина ведь сидит на плывущем пароме и оглядывается назад, только назад. Размеры ее бытия — это только то, что в далекой дали. И как уменьшается, исчезает и растворяется ее прошлое, уменьшается и теряет очертания сама Тамина.

Она мечтает вернуть дневники, чтобы хрупкий скелет событий, каким он вырисовывается в ее новой тетради, заполнился цементом и стал домом, где она могла бы жить. Потому что, если неустойчивое сооружение воспоминаний рухнет, как плохо поставленная палатка, от Тамини останется только настоящее, та невидимая точка, то ничто, медленно приближающееся к смерти.

6

Почему же она раньше не попросила свекровь переслать ей пакет?

Переписка с заграницей проходит в Чехословакии через руки тайной полиции, и Тамина не могла смириться с мыслью, что полицейские чиновники будут совать свой нос в ее жизнь. Кроме того, фамилия ее мужа /которая до сих пор была и ее фамилией/ находилась в черном списке, а полиция очень интересуется любыми документами из жизни своих противников, даже если их уже нет в живых. /В этом отношении Тамина не ошибается: наше подлинное бессмертие — в папках полицейских архивов./

Поэтому Биби ее единственная надежда, и она сделает все, чтобы обязать Биби. Биби хочет познакомиться с Банакой, и Тамина думает: ее приятельница должна была бы получить представление хотя бы об одной из его книг. Совершенно необходимо, чтобы во время беседы с ним она могла бы вставить: "Да-да, вы говорите об этом в своей книге!" или: "Вы очень похожи на своих героев, мсье Банака!" Тамина знает, что в квартире Биби нет ни одной книги и что чтение наводит на нее тоску. Поэтому она хотела бы узнать сама, о чем книги Банаки, и подготовить свою приятельницу к встрече.

В ресторане сидел Гуго. Тамина поставила перед ним чашку кофе:

— Гуго, вы знаете Банаку?

У Гуго плохо пахло изо рта, но в общем он был довольно симпатичен Тамине: тихий, робкий, лет на пять младше ее. В ресторан он приходил раз в неделю, поглядывая то на книги, которые приносил с собой, то на Тамину, стоящую за стойкой бара.

— Знаю, — сказал он.

— Я хотела бы познакомиться с содержанием одной из его книг.

— Запомните, Тамина, — сказал Гуго, — еще никто не прочитал ни одной книги Банаки. Читать книгу Банаки — это значит поставить себя в очень смешное положение. Никто не

сомневается, что это писатель второго, если не третьего или десятого сорта. Уверяю вас, что сам Банака в такой степени жертва своей собственной репутации, что он начинает презирать людей, когда узнает, что они читали его книги.

Она перестала интересоваться книгами Банаки, но все же встречу с Банакой устроила. Она иногда давала ключ от своей квартиры, которая днем пустовала, маленькой замужней японке Жужу, тайно встречавшейся у нее с каким-то женатым профессором философии. Профессор знал Банаку, и Тамина заставила любовников согласиться привести Банаку к ней, когда у нее будет Биби.

Когда Биби узнала об этом, то сказала:

— Может быть, Банака красив, и твоя сексуальная жизнь наконец-то изменится.

7

И верно, с того времени, как умер муж, у Тамины не было никого. Это произошло не из принципа. Напротив, верность умершему казалась ей смешной, и она никогда не кичилась этим. Но стоило ей представить себе /а представляла она себе это часто/, что она раздевается в присутствии какого-то мужчины, как перед ней возникал образ мужа. Она знала, что видела бы его при этом. Она знала, что видела бы его лицо и глаза, наблюдающие за ней.

Это было, разумеется, нелепо, и даже глупо, и она понимала это. Она не верила в загробную жизнь души мужа и не думала, что, обзаведясь любовником, она оскорбит его память.

Но она ничего не могла поделать с собой.

Как-то ей даже пришла в голову странная мысль: если бы она изменяла мужу при его жизни, то тогда это было бы намного легче сделать, чем теперь. Ее муж был веселым, преуспевающим, сильным, она чувствовала себя слабее его, и ей казалось, что она не могла бы ранить его, даже если бы попыталась.

Но сейчас все иначе. Сейчас она бы обидела кого-то, кто не может защититься, кто выдан ей на милость и немилость, как

ребенок. Ведь у ее мертвого мужа во всем мире нет никого, кроме нее, увы, никого, кроме нее!

Поэтому, как только она думала о возможности физической близости с кем-то иным, всплывал образ ее мужа, ее охватывала острая тоска и вместе с тоской острая потребность плакать.

8

Банака был уродлив и вряд ли мог пробудить в женщине дремлющие инстинкты. Тамина наливала чай в чашку, а он очень вежливо благодарил. Собственно, все чувствовали себя хорошо у Тамины, и Банака сам вскоре прервал ничего не значащую беседу и с улыбкой повернулся к Биби:

— Я слышал, что вы собираетесь писать книгу. О чем же?

— Очень просто, — сказала Биби, — роман о том, как я вижу мир.

— Роман? — спросил Банака, и в его голосе послышалось явное неодобрение.

— Может, это и не будет роман, — старалась исправить свою ошибку Биби.

Банака сказал:

— Постарайтесь представить себе роман. Много различных действующих лиц. Вы хотите сказать, что знаете о них все? Что вы знаете, как они выглядят, что думают, как одеваются, из какой они семьи? Признайтесь, что вас это вообще не интересует!

— Верно, — призналась Биби, — не интересует.

— Знаете, — сказал Банака, — роман — это плод иллюзий человечества относительно того, что один может понять другого. Но что знаем мы друг о друге?

— Ничего, — сказала Биби.

— Это факт, — сказала Жужу.

— Единственное, что мы можем сделать, — сказал Банака, — это дать свидетельство каждый сам о себе. Все остальное — злоупотребление нашими полномочиями. Все остальное — ложь.

Биби с восторгом соглашалась:

— Это правда! Абсолютная правда! И ведь никакого романа я писать не хочу! Я просто не так выразилась. Я хотела писать точно то, что вы сказали, сама о себе. Дать свидетельство о своей жизни. При этом я и не собираюсь скрывать, что жизнь моя совершенно будничная, обыкновенная и что я сама ничего особенного не пережила.

Банака улыбался:

— Это совершенно не важно. Если смотреть извне, то я сам тоже ничего особенного не пережил.

— Да, — воскликнула Биби, — верно сказано! Если смотреть извне, я ничего не пережила. Если смотреть извне! Но я чувствую, что мой внутренний опыт заслуживает того, чтобы о нем писать, и что он мог бы быть интересным для всех.

Тамина доливала чай и была довольна, что двое мужчин, спустившиеся в ее квартиру с духовного Олимпа, доброжелательно относятся к ее приятельнице.

Профессор философии дымил трубкой и прятался за дымом, как будто стеснялся.

— Уже со времен Джеймса Джойса мы знаем, — сказал он, — что самое впечатляющее приключение нашей жизни — это отсутствие приключений. Одиссей, воевавший у Трои, возвращался по морю, он сам вел судно, на каждом острове у него была любовница, нет, это не наша жизнь. Гомеровская "Одиссея" переместилась вовнутрь. Сжалась. Острова, моря, сирены, соблазняющие нас, Итака, зовущая обратно, сегодня — это внутренние голоса нашего я.

— О, да! Я чувствую то же самое! — воскликнула Биби и снова обратилась к Банাকে. — Поэтому мне хотелось спросить вас, что делать. Часто у меня бывает ощущение, что мое тело наполнено желанием высказаться. Сказать. Высказаться. Иногда мне кажется, что я схожу с ума, я переполнена до взрыва, мне хочется кричать; вы, мсье Банака, понимаете, о чем я говорю. Мне хотелось бы рассказать о своей жизни, о своих чувствах, которые, я уверена в этом, совершенно уникальны, но когда я беру бумагу, то абсолютно не знаю, о чем

писать. И я подумала, что это наверняка технический вопрос. Мне, вероятно, недостает какого-то навыка, которым обладаете вы. Вы ведь написали такие великолепные книги...

9

Я избавлю вас от лекции, которую два Сократа прочитали молодой женщине об искусстве книгописания. Мне хочется говорить о другом. Недавно в Париже я ехал на такси из одного конца города в другой, и таксист мой разговорился. Он не может по ночам спать. Он страдает от бессонницы. Началось это во время войны. Он был моряком. Его корабль потопили. Он плавал три дня и три ночи. Его спасли. В течение нескольких месяцев он был на грани между жизнью и смертью. Выздоровел, но потерял сон.

— У меня на одну треть больше жизни, чем у вас, — улыбнулся он.

— А что вы делаете с этой лишней третью, — спросил я.

— Пишу, — сказал он.

Я спросил, что он пишет.

Он описывает свою жизнь. Историю человека, который три дня плавал в море, боролся со смертью, потерял сон, но не потерял воли к жизни.

— Вы это пишете для детей? Как семейную хронику?

Он горько улыбнулся:

— Детей моих это не заинтересовало бы. Я пишу книгу. Думаю, что она может помочь людям.

Разговор с таксистом неожиданно разъяснил мне суть писательской деятельности. Мы пишем книги потому, что наши дети нами не интересуются. Мы обращаемся к анонимному миру потому, что наша жена затыкает себе уши, когда мы обращаемся к ней.

Вы можете возразить, что в случае таксиста речь идет о графомане, а не о писателе. Поэтому мы прежде всего должны разобраться в понятиях. Женщина, которая пишет возлюбленному каждый день четыре письма, не графоман, а влюбленная женщина. Но мой приятель, который оставляет у себя копии

своих и адресованных ему любовных писем, чтобы в будущем их издать, — графоман. Графомания — это желание писать не письма, дневники, семейную хронику /то есть писать для себя и своих близких/, а книги /то есть для неизвестных читателей/. В этом смысле страсть таксиста и Гете одинакова. То, что отличает Гете от таксиста, — это не различные по характеру страсти, а разные результаты той же страсти.

Графомания /одержимость писать книги/ неизбежно становится массовой эпидемией, как только развитие общества обеспечивает наличие трех основных условий:

Высокий уровень общего благосостояния, который позволяет людям заниматься трудом, не приносящим им никакой конкретной пользы.

Высокая степень раздробленности общественной жизни и вытекающее отсюда повсеместное одиночество человека.

Полное отсутствие серьезных общественных перемен во внутренней жизни народа. /С этой точки зрения мне кажется показательным, что во Франции, где вообще ничего не происходит, процент писателей в одиннадцать раз выше, чем в Израиле. И Биби сказала совершенно точно, что, если смотреть и з в н е , она ничего не пережила. Именно отсутствие жизненного содержания, пустота и являются тем мотором, который заставляет ее писать./

Но следствие в свою очередь влияет на причину. Повсеместное одиночество вызывает графоманию, однако массовая графомания утверждает и в то же время усугубляет одиночество. Изобретение печатной техники создало условия для коммуникации людей. Во время всеобщей графомании книгописание действует в обратном направлении: каждый окружает себя своими буквами, как зеркальной стеной, сквозь которую ни звука не проникает извне.

10

— Тамина, — сказал Гуго, беседуя с ней в пустом ресторане, — я знаю, что мне не на что надеяться. Я и пытаться не буду. И

все же, могу я пригласить вас пообедать со мной в воскресенье?

Пакет находится в районном городке у свекрови, и Тамина хочет переправить его к отцу в Прагу, чтобы Биби могла его забрать. Казалось бы, ничего сложного, но чтобы договориться со старыми людьми, у которых к тому же свои капризы, ей нужно много времени и денег. Звонить по телефону дорого, а ее заработка едва хватает на квартирную плату и питание.

— Да, — кивает головой Тамина и думает о том, что у Гуго есть телефон.

Он заехал за ней на машине, и они поехали в загородный ресторан. Ее ничтожное положение должно было бы облегчить ему роль уверенного в себе завоевателя, но он за фигурой низкооплачиваемой официантки видит таинственный опыт иностранки и вдовы. Он не уверен в себе. Ее доброжелательность, как панцирь, пробить который невозможно. Он хотел бы обратить на себя ее внимание, заинтересовать ее, оставить след в ее сознании!

Он старается придумать, чем ее развлечь. Не доехав до ресторана, он остановил машину, чтобы показать ей зоопарк, расположенный в саду великолепного деревенского замка. Они гуляли среди обезьян и попугаев на фоне готических башен. Они были совершенно одни, только деревенский садовник сметал с широких дорожек упавшие листья. Они прошли мимо волка, бобра, обезьяны и тигра и дошли до большой полянки, огороженной забором из проволоки, за которым находились страусы.

Их было шесть. Увидев Тамины и Гуго, они подбежали к ним. Потом они сбились в кучу у забора; они вытягивали длинные шеи, пялили на них глаза и все время открывали свои широкие плоские клювы. Они открывали и закрывали их с невероятной быстротой, лихорадочно, как будто разговаривали, стараясь перекричать друг друга. Но эти клювы были безнадежно немые и не издавали ни звука.

Страусы выглядели, как посланники, которые выучили наизусть важное сообщение, но у которых по пути противник

вырезал языки, и когда они дошли до цели, то могли лишь беззвучно шевелить губами.

Тамина смотрела на них, как зачарованная, а страусы все говорили, и чем дальше, тем настойчивее, а когда она с Гуго уходила, они бежали за ними вдоль ограды и все время хлопали клювами, предупреждая ее о чем-то, а она не знала, о чем.

11

— Это было, как в страшной сказке, — говорила Тамина, разрезая паштет. — Как будто они хотели сказать мне что-то очень важное. Но что? Что они хотели мне сказать?

Гуго объяснил, что это молодые страусы и что так они себя ведут всегда. Когда он был в прошлый раз в зоопарке, они тоже, все шестеро, подбежали к проволоке и раскрывали немые клювы.

Но Тамина все еще была взволнована:

— Вы знаете, я кое-что оставила в Чехии. Пакет с записями. Если мне его пошлют по почте, то полиция может его конфисковать. Биби собирается летом в Прагу. Она обещала привезти его. А сейчас я боюсь, что страусы пришли предостеречь меня, что с этим пакетом что-то произошло.

Гуго знал, что Тамина вдова и что муж ее вынужден был эмигрировать по политическим мотивам.

— Это политические документы? — спросил он.

Тамина давно уже уразумела, что если она хочет, чтобы жизнь ее была понятна здешним людям, она должна упростить ее. Было бы невероятно сложно объяснить, почему могут быть конфискованы личные письма и документы и почему они так важны для нее. Поэтому она сказала:

— Да, политические документы.

И сразу же испугалась, что Гуго захочет узнать дополнительные подробности об этих документах, но испугалась она напрасно. Разве ее когда-либо кто-либо о чем-то спрашивал? Иногда люди сами говорили ей, что они думают о ее родине, но ее прошлое их совершенно не интересовало.

Гуго спросил:

— А Биби знает, что это политические материалы?

— Нет, — сказала Тамина.

— Это хорошо, — сказал Гуго, — не говорите ей, что это политика. Люди очень трусят, Тамина. Биби должна считать, что это совершенно незначительные и простые записки. Например, ваши любовные письма. Да-да, скажите ей, что в пакете любовные письма!

Гуго рассмеялся над своей выдумкой.

— Любовные письма! Да! Это не выходит за рамки ее кругозора! Это Биби в состоянии понять!

Тамина думает о том, что для Гуго любовные письма — это нечто обыкновенное и незначительное. Никому даже в голову не придет, что она могла кого-то любить и что это было очень важно.

Гуго продолжал:

— Если она не поедет, положитесь на меня. Я заеду за пакетом.

— Спасибо, — искренне сказала она.

— Я заеду за пакетом, — повторил Гуго, — даже, если меня там арестуют.

— Ну что вы! — возражает Тамина, — с вами ничего подобного случиться не может!

И она старается объяснить ему, что иностранным туристам в Чехии не угрожает опасность. Опасна жизнь в Чехии только для чехов, а те уже даже не сознают этого. Она говорила долго и взволнованно, она знала страну наизусть, и я могу подтвердить, что она была совершенно права.

Но Гуго качал головой:

— Нет смысла не видеть опасности. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я с радостью пойду на такой риск. — Потом он поднял на нее свои детские мечтательные глаза. — Это даже соответствовало бы логике моей судьбы, если бы меня там арестовали.

Час спустя она прижимала к уху трубку телефона Гуго. Ее разговор со свекровью протекал ничуть не лучше первого:

— Вы не давали мне никакого ключа! Вы всю жизнь все от

меня скрывали! Почему ты заставляешь меня вспоминать, как вы ко мне всю жизнь относились!

12

Если воспоминания так важны для Тамины, то почему она не вернется в Чехию? Эмигранты, нелегально выехавшие из страны после 1968 года, были уже амнистированы, их призывали вернуться. Чего же тогда Тамина боится? Не такая уж она важная персона, чтобы ее дома кто-то преследовал.

Да, она могла бы вернуться, не опасаясь ничего. И все-таки не может.

Дома ее мужа все предали. И она говорит себе, что если бы она вернулась, то тем самым предала бы его и она.

Когда его понижали с должности на должность, и, наконец, выгнали с работы, никто за него не заступился. Даже его друзья. Тамина, конечно, понимает, что в глубине души они были с ним заодно и что молчали они только из трусости. Но именно потому, что они были за него, они еще больше стыдились своего страха, и когда встречали его на улице, делали вид, что они его не видят. И Тамина и муж ее из деликатности сами стали избегать людей, чтобы не вызывать у них чувство стыда. Вскоре они начали чувствовать себя, как прокаженные. После их побега из Чехии бывшие сотрудники мужа подписали публичное заявление, в котором оклеветали и осудили его. Они наверняка поступили так, чтобы не потерять работу, которую перед этим потерял он. Но они пошли на это. И тем самым между ними и обоими эмигрантами образовалась пропасть, которую Тамина никогда уже не захочет перешагнуть.

Когда в первую ночь после побега они проснулись в небольшом альпийском отеле и поняли, что остались одни, вырванные с корнем из мира, в котором проходила их жизнь, ее охватило чувство облегчения и приобретенной свободы. Это было в горах, и они были одни, и им было хорошо. Их окружала тишина. Тамина ощущала эту тишину, как неожиданный дар, и она подумала тогда, что муж оставил Чехию, чтобы из-

бежать преследований, а она — чтобы найти тишину; тишину для себя и для мужа; тишину для любви.

Когда муж умер, она страшно затосковала по родине, где всюду были следы одиннадцати лет их совместной жизни. В неожиданном сентиментальном порыве она разослала траурные извещения десятку знакомых. И никто не ответил.

Месяц спустя на последние сбереженные деньги она поехала к морю. Она надела купальный костюм и приняла целую бутылочку успокоительных таблеток. Потом поплыла далеко в море. Она думала, что таблетки вызовут глубокую усталость, и она утонет. Но холодная вода и спортивные движения /она всегда была великолепной пловчихой/ не позволили ей уснуть, да и таблетки оказались, вероятно, более слабыми, чем она предполагала.

Она вернулась на берег, пошла в номер и спала двадцать часов. Когда проснулась, то была спокойной и умиротворенной. Она была полна решимости жить в тишине и ради тишины.

Голубовато-серебристый свет телевизора освещал присутствующих: Тамину, Жужу, Биби и ее мужа Рене — он был коммивояжером и вернулся накануне, после четырехдневного отсутствия. В комнате ощущался слабый запах мочи, а на экране была большая, круглая, старая, лысая голова, которой невидимый журналист задавал в этот момент провокационный вопрос: "В ваших воспоминаниях мы прочитали несколько шокирующих эротических признаний".

Это была регулярная передача, в которой популярный журналист интервьюировал нескольких авторов, книги которых вышли на прошлой неделе.

Большая голая голова самодовольно улыбалась:

— О, нет! Ничего шокирующего там нет! Это просто точное описание! Читайте вместе со мной. Я начал жить половой жизнью в пятнадцать лет. — Круглая старая голова с гордостью посмотрела вокруг себя. — Да, в пятнадцать лет. Сейчас

мне шестьдесят пять. Таким образом, за мной уже пятьдесят лет эротической жизни. Я могу предполагать — и это весьма трезвая оценка — что половых сношений у меня было в среднем два в неделю. Это значит — сто в год, а это значит пять тысяч на протяжении пятидесяти лет. Читайте дальше. Если оргазм продолжается пять секунд, то я пережил уже двадцать пять тысяч секунд оргазма. Всего это шесть часов и пятьдесят шесть минут оргазма. Это не плохо, а?

Все в комнате серьезно кивали головой, а Тамина представляла себе лысого старика, переживающего непрерывный оргазм, как он извивается, хватается за сердце, как спустя пятнадцать минут у него изо рта выпадают искусственные зубы и как еще пять минут спустя он падает мертвым. Она рассмеялась.

— Чему ты смеешься? — упрекнула ее Биби. — Это не такой уж плохой баланс! Шесть часов пятьдесят шесть минут оргазма.

Жужу сказала:

— Много лет я вообще не знала, что такое оргазм. Но теперь вот уже несколько лет подряд, как я испытываю оргазм совершенно регулярно.

Все заговорили об оргазме Жужу, а в то время на экране возмущалась новая физиономия.

— Почему он такой сердитый? — спросил Рене.

Писатель на экране говорил:

— Это очень важно. Очень важно. Я объясняю это в своей книге.

— Что очень важно? — спросила Биби.

— Что он провел свое детство в рурской деревне, — объяснила Тамина.

У мужчины, который провел свое детство в рурской деревне, был длинный нос, оттягивающий его вниз, так что голова его опускалась все ниже и ниже, и иногда казалось, что она выпадет из телевизора в комнату. Лицо, отягощенное носом, было очень взволнованным, когда говорило:

— Я объясняю это в своей книге. Все мое творчество связано с простой рурской деревней, и кто этого не понимает, тот

вообще не может понять мои произведения. Даже свои первые стихи я писал там. Да, я считаю это очень важным.

— Есть мужчины, — говорила Жужу, — с которыми у меня никогда не бывает оргазма.

— Не забываете, — сказал писатель, и лицо его стало еще взволнованное, — что именно в Руре я впервые ехал на велосипеде. Да, я пишу об этом в своей книге очень подробно. А все вы знаете, что такое в моей книге езда на велосипеде. Это символ. Велосипед для меня — это первый шаг человечества от патриархальной жизни к цивилизации. Первый флирт с цивилизацией. Флирт девственницы до первого поцелуя. Еще целомудрие, но уже грех.

— Это правда, — сказала Жужу, у моей сотрудницы Танаки первый оргазм был, когда она еще девушкой ехала на велосипеде.

Все заговорили об оргазме Танаки, а Тамина спросила Биби:

— Я могу от тебя позвонить?

14

В соседней комнате запах мочи был сильнее. Там спала дочка Биби.

— Я знаю, что ты с ней не разговариваешь, — шептала Тамина, — но иначе я их у нее не вырву. Это единственная возможность: ты поедешь туда и заберешь у нее пакет. Если она не найдет ключа, ты заставишь ее взломать ящик. Это мое. Письма и все остальное. Я имею право на это.

— Тамина, не заставляй меня разговаривать с ней.

— Папа, постарайся пересилить себя и сделай это ради меня. Она тебя боится и не осмелится тебе отказать.

Знаешь что, если твои знакомые приедут в Прагу, я пошлю тебе с ними шубу. Это важнее, чем старые письма.

— Мне не шуба важна. Мне важен тот пакет.

— Говори громче! Я ничего не слышу! — сказал отец, но его дочь умышленно говорила шепотом, так как не хотело, чтобы Биби слышала, что она говорит по-чешски, это сразу бы

разоблачило, что она звонит заграницу и что хозяева телефона дорого заплатят за каждую секунду разговора.

— Мне важен пакет, а не шуба, — повторила она.

— Для тебя всегда важны глупости!

— Папа, телефон стоит очень дорого. Пожалуйста, ты действительно не можешь к ней подъехать?

Разговор был трудным. Отец просил ее повторять каждое предложение и упрямо отказывался съездить к ее свекрови. Наконец, он сказал:

— Позвони брату. Пусть он к ней съездит. Он может привезти мне этот пакет.

— Но брат ее совсем не знает!

— Это-то и хорошо, — засмеялся отец, иначе он никогда бы туда не поехал.

Тамина лихорадочно думала. Это не так уж неразумно послать к свекрови брата. Он энергичный и властный. Но Тамине не хочется ему звонить. Со времени ее отъезда за границу они совсем не писали друг другу. У брата была великолепно оплачиваемая работа, и сохранил он ее только потому, что порвал все связи с сестрой-эмигранткой.

— Папа, я звонить не могу. Ты не можешь объяснить ему все сам? Пожалуйста, папа.

15

Папа был небольшого роста, болезненный, и когда он ходил с Таминкой по улице, то пыжился, как будто демонстрировал всему миру памятник одной единственной героической ночи, когда он зачал ее. Зять он никогда не любил и постоянно вел против него войну. И когда несколько минут назад он предлагал Тамине послать ей шубу /она осталась в наследство от какой-то родственницы/, то двигала им не забота о здоровье дочери, а старое чувство соперничества. Он хотел, чтобы она предпочла отца /шубу/ мужу /пакету с письмами/.

Тамина была в ужасе от того, что судьба ее пакета находится в руках свекрови и отца. Ей все чаще казалось, что ее записки читают чужие глаза, ей представлялось, что чужие

взгляды — это дождь, смывающий надписи на стене. Или свет, который преждевременно озарил в проявителе фотобумагу и засветил снимок.

Она поняла, что ценность и смысл этих записок именно в том, что они предназначены только ей. Стоит им лишиться этого качества, как исчезнет интимная связь между ней и ими, и она уже не сможет читать их своими глазами, а только глазами публики, которая знакомится с чужим документом. И тот, кто писал письма, станет чужим для нее существом. То внешнее сходство, которое все же сохраняется между ней и автором записей, она будет воспринимать как пародию и насмешку. Нет, она уже никогда не могла бы читать свои записки, прочитанные чужими глазами!

Она стала нетерпеливой, она хотела заполучить свои дневники и письма как можно скорее, пока образ прошлого, зарисованный в них, еще не уничтожен.

16

Биби вошла в ресторан и под села к стойке бара.

— Привет, Тамина. Налей мне виски.

Большей частью Биби заказывала кофе и только в исключительных случаях — портвейн. Заказанное виски свидетельствовало о ее совершенно особом настроении.

— Как работа над книгой? — спросила Тамина, наливая в бокал виски.

— Не мешало бы мне быть в лучшем настроении, — сказала Биби. Она выпила виски одним глотком и повторила заказ.

В ресторане появилось еще несколько посетителей. Тамина взяла у них заказы, вернулась к стойке, налила приятельнице второй бокал виски и начала обслуживать заказчиков. Когда Тамина вернулась, Биби сказала:

— Я просто уже не могу переносить Рене. Когда он возвращается из поездок, он по два дня валяется в кровати. В течение двух дней он не снимает пижамы! Ты бы выдержала такое? А самое страшное, это когда ему хочется е...ся. Он совершенно не в состоянии понять, что меня е...ля несколько,

нисколучки не интересует. Я должна порвать с ним. Он все время обдумывает этот idiotский отпуск. Лежит в кровати в пижаме с атласом в руках. Вначале он хотел поехать в Прагу. Потом раздумал. Теперь он нашел какую-то книгу об Ирландии и хочет во что бы то ни стало отправиться туда.

— Так вы поедете в отпуск в Ирландию? — спросила Тамина, и в горле у нее что-то сжалось.

— Мы? Мы не поедем никуда. Я останусь здесь и буду писать. Никуда он меня не вытащит. Не нужен мне Рене. Он совсем мной не интересуется. Я пишу и, представь себе, что он еще ни разу не спросил, что я пишу. Я поняла, что нам уже не о чем говорить друг с другом.

Тамина хотела спросить: — Так ты не поедешь в Чехию? — Но в горле был ком, и она не могла говорить.

В этот момент в ресторан вошла японка Жужу. Она вспорхнула на табуретку рядом с Биби. Сказала:

— Вы могли бы заниматься любовью на виду у всех?

— Что ты имеешь в виду? — спросила Биби.

— Вот хотя бы здесь, в ресторане, на полу, перед всеми. Или в кино во время сеанса.

— Тихо, — прикрикнула Биби, глядя вниз, где между ножками ее табуретки шумел ребенок. Потом сказала: — А почему бы и нет? Ведь в этом нет ничего неестественного. Почему я должна стесняться того, что естественно?

Тамина снова решила спросить, поедет ли Биби в Чехию. Но поняла, что спрашивать не имеет смысла. Все было даже слишком ясно. Биби в Чехию не поедет.

Из кухни в зал ресторана вошла хозяйка и улыбнулась Биби: — Как дела? — и подала ей руку.

— Нам нужна революция, — сказала Биби. — Что-то должно было бы произойти! Уже в конце концов хоть что-то должно произойти!

Ночью Тамине приснились страусы. Они стояли у ограды и обращались к ней, перебивая друг друга. Ей было страшно. Она не могла сдвинуться с места и, как загнипнотизированная, следила за их немymi клювами. Ее губы были судорожно

сжаты. Дело в том, что губами она сжимала золотое кольцо и она боялась его выронить.

17

Почему мне представляется, что она сжимала губами золотое кольцо?

Не моя вина, что я представляю ее себе именно так. И вдруг я слышу фразу: тихий, ясный, металлический тон, как будто золотое кольцо упало в серебряную миску.

Когда Томас Манн был еще очень молодым, он написал наивный, но такой, от которого перехватывало дыхание, рассказ о смерти. В этом рассказе смерть прекрасна — для всех, кто мечтает о ней, будучи еще молодым; и смерть эта ненастоящая и удивительная, как голубоватый голос дали.

Молодой человек, смертельно больной, садится в поезд, потом выходит на незнакомом вокзале, идет в город, название которого не знает, и в каком-то доме, у старой женщины, все тело которой покрыто струпьями, снимает комнату. Нет, я не хочу рассказывать, что происходило в этой комнате, я хочу напомнить только одно незначительное событие: когда этот больной молодой человек шел по комнате, ему показалось, что в интервалах между шагами он слышит совсем рядом, в соседних комнатах, какой-то звук, тихий, ясный, металлический тон; но, может быть, ему это только показалось. Как будто золотое кольцо упало в серебряную миску, подумал он...

У этого коротенького акустического эпизода в повести нет ни продолжения, ни разъяснения. С точки зрения чистой фабулы его можно было бы без каких-либо последствий опустить. Но этот звук прозвучал: ни за что, ни про что — просто так.

Мне думается, что Томас Манн дал этому тихому, ясному, металлическому тону зазвучать лишь для того, чтобы настала тишина. Она ему нужна была, чтобы услышать красоту /так как смерть, о которой он рассказывал, была смерть-

красота/, а красота, чтобы ее можно было ощутить, требует определенной степени тишины /и единицей измерения ее как раз-то и является звук золотого кольца, упавшего в серебряную миску/.

/Да, я знаю, вы не понимаете, о чем я говорю, так как красота давно уже исчезла. Она исчезла под поверхностью шума — шума слов, шума машин, шума музыки, шума букв — в котором непрерывно протекает наша жизнь. Она утонула, как Атлантида. От нее осталось только слово, смысл которого с каждым годом становится все непонятнее./

Впервые Тамина услышала эту тишину, редкостную, как обломок мраморной статуи с утонувшей Атлантиды, когда после побега из Чехии она проснулась в альпийском отеле, окруженном лесами. Еще раз она ее услышала, когда плыла в море с желудком, напичканным таблетками, которые вместо смерти принесли ей неожиданный мир. Она хочет защитить эту тишину своим телом и в своем теле. Поэтому я вижу ее, как она в своем сне стоит перед проволочной оградой, и в ее судорожно сжатых губах золотое кольцо.

Напротив шесть длинных шей с маленькими головами и плоскими клювами, которые бесстыдно открываются и закрываются. Она не понимает их. Не знает, угрожают ли они ей, предупреждают ли, побуждают ли, или просят. И так как она не знает, то страшно боится. Она боится за золотое кольцо /этот камертон тишины/ и судорожно защищает его губами.

Тамина никогда не узнает, что они пришли ей сказать. Но я знаю. Они пришли не предупредить ее, не делать ей замечания и не угрожать ей. Она их совершенно не интересуется. Они пришли рассказать ей каждый о себе. Как он ел, как спал, как бежал к ограде и что за ней видел. О том, что он провел свое значительное детство в значительной рурской деревне. Что его очень серьезный оргазм продолжался шесть часов. Что он видел, как за оградой шла бабушка с завязанным на голове платком. Что он плавал, заболел, а потом выздоровел. Что когда он был молодым, то он ездил на велосипеде, а сегодня съел мешок травы. Все они стоят перед Таминдой и, перебивая

друг друга, рассказывают, воинственно, настойчиво, агрессивно, так как в мире нет ничего важнее того, что они хотят сказать.

18

Спустя несколько дней в ресторане появился Банака. Он был пьян в доску, сел на высокую табуретку, дважды упал с нее, дважды влез заново, заказал кальвадос и уронил голову на стойку. Тамина заметила, что он плачет.

— Что с вами, мсье Банака? — спросила она его.

Банака посмотрел на нее заплаканными глазами и ткнул себя пальцем в грудь:

— Меня нет, понимаете! Меня нет, я не существую!

Потом он пошел в туалет, а из туалета прямо на улицу, не расплатившись.

Тамина рассказала об этом Гуго, и он показал ей газету, где было несколько рецензий на книги и среди них заметка о творчестве Банакки; эта заметка состояла всего лишь из четырех издевательских строк.

Случай с Банаккой, который тыкал себя в грудь и рыдал из-за того, что он не существует, напоминает мне строку из "Западно-восточного дивана" Гете: "Живет ли человек, раз живут другие?" В вопросе Гете скрывается таинство всей писательской деятельности: когда человек пишет книгу, он превращается в космос /ведь говорят же о мире Бальзака, о мире Чехова, о мире Кафки/, а космос характерен своей уникальностью. Наличие другого мира ставит тем самым под угрозу саму суть космоса.

Двое сапожников, если мастерские их не находятся на одной и той же улице, могут сосуществовать в полной гармонии. Но как только они начнут писать книги о судьбах сапожника, то начнут мешать друг другу и начнут задаваться вопросом: живет ли сапожник, если живут и другие сапожники?

Тамине кажется, что один единственный чужой взгляд в состоянии уничтожить ценность ее интимных дневников, а Гете чувствует, что один единственный взгляд одного един-

ственного человека, который не упадет на его строки, поставит под сомнение само существование Гете. Различие между Таминой и Гете — это различие между человеком и писателем.

Кто пишет книги, тот либо все /единственный мир для себя и других/, либо ничто. А так как все никогда не будет дано никому, мы все, кто пишем книги, ничто. Мы не признаны, ревнивы, уязвимы и желаем другим смерти. В этом мы все равны: Банака, Биби, я и Гете.

Неудержимый рост массовой графомании среди политиков, таксистов, родящих матерей, любовниц, убийц, воров, проституток, полицейских, врачей и больных служит для меня доказательством того, что любой без исключения человек несет в себе писателя как возможность, что человечество с полным правом могло бы выйти на улицы и кричать: все мы писатели!

Ведь каждый страдает от того, что исчезнет, не будучи услышанным и замеченным, в равнодушном космосе, и поэтому каждый хочет превратить самого себя в мир слов.

И когда в будущем /и это случится вскоре/ писатель прощется во всех людях, настанут дни всеобщей глухоты и непонимания.

19

Сейчас у нее последняя надежда на Гуго. Он пригласил ее на ужин, и на этот раз она очень охотно принимает приглашение.

Гуго сидит напротив нее за столом и думает только об одном: Тамина постоянно исчезает. Он чувствует себя в ее присутствии неуверенно и не может приступить к любовной атаке. И оттого, что страдает от невозможности добиться такой скромной и определенной цели, он тем сильнее ощущает стремление завоевать мир, эту бесконечность неопределенного. Он вынимает из кармана журнал, раскрывает его и протягивает ей. На странице длинная статья с его подписью.

Он начинает длинную речь. Рассказывает о журнале, который он ей показал: да, пока что его читает мало людей вне их

города, и все же это интересное теоретическое ревью, люди, которые его издают, мужественны и в будущем станут очень влиятельными. Гуго говорит и говорит, а его слова пытаются быть метафорой эротической агрессии, демонстрацией его силы. В них волшебная готовность абстрактного, поспешившего заменить собой конкретное, контролировать которое невозможно.

А Тамина смотрит на Гуго и перерисовывает его лицо. Эти духовные упражнения стали уже привычкой. Она не может уже смотреть на мужчину иначе. Это требует от нее усилий, мобилизует все ее воображение, но потом карие глаза Гуго действительно меняют цвет и вдруг становятся голубыми. Тамина смотрит на него пристально, потому что если она не хочет, чтобы голубой цвет исчез, она должна удерживать его в зрачках всей силой своего взгляда.

Этот взгляд беспокоит Гуго, и он говорит еще больше и больше, глаза его необыкновенно голубые, его лоб слегка растягивается по сторонам, так что от его волос впереди остается лишь узкий треугольник, острый угол которого направлен вниз.

— Я всегда выступал с критикой нашего западного мира. Но господствующая у нас несправедливость могла бы привести нас к ложной снисходительности по отношению к другим странам. Благодаря вам, да, благодаря вам, Тамина, я понял, что проблема власти существует везде — у вас и у нас, на западе и на востоке. И мы должны стремиться не только к замене одной власти другой, а к отрицанию самого принципа власти и к отрицанию его везде.

Гуго через стол склоняется к Тамине, и она слышит кислый запах его рта, который мешает ей продолжить духовные упражнения, так что надо лбом Гуго снова появляются густые низко растущие волосы. А Гуго повторяет, что все это он понял только благодаря ей.

— Чего вдруг? — перебивает его Тамина, — мы ведь никогда об этом не говорили.

На лице Гуго остался уже только один голубой глаз, но и он медленно коричневеет.

— Вам не нужно было мне ничего говорить, Тамина. Достаточно, что я много думал о вас.

Над ними склонился официант. Он ставил перед ними тарелки с закуской.

— Я это прочитаю дома, — сказала Тамина и вложила журнал в сумку. Потом сказала:

— Биби в Прагу не поедет.

— Я так и знал, — сказал Гуго и добавил. — Не бойтесь, Тамина, я обещал вам. Я поеду туда сам.

20

— У меня для тебя хорошее известие. Я говорил с твоим братом. В эту субботу он поедет к свекрови.

— Правда?! Ты ему все объяснил? Ты сказал, что если не будет ключа, то надо просто взломать замок?

Тамина положила трубку. Она была счастлива.

— Хорошая новость? — спросил Гуго.

— Да, — кивнула она.

В ее ушах еще раздавался голос отца, веселый и решительный, и она подумала, что была к нему несправедлива.

Гуго встал и подошел к бару. Он достал оттуда два бокала и налил в них виски.

— Вы можете звонить от меня, Тамина, как часто и как долго вы хотите. Я могу повторить, что я вам уже не раз говорил. Мне хорошо с вами, хотя я знаю, что вы никогда не будете спать со мной.

Он заставил себя сказать "знаю, что вы никогда не будете спать со мной" только для того, чтобы доказать, что он в состоянии сказать в глаза этой недоступной женщине определенные слова /пусть и в осторожно негативной форме/, и он казался себе довольно смелым.

Тамина встала и приблизилась к Гуго, чтобы взять у него бокал. Она думала о брате: не переписываются, и все же родные, готовы помочь друг другу.

— За то, чтобы вам все удалось! — сказал Гуго и опустошил бокал.

Тамина тоже выпила виски и поставила бокал на столик. Она хотела сесть, но не успела, Гуго обнял ее.

Она не сопротивлялась, просто отвернула голову. Губы искривились, а лоб покрылся морщинами.

Он обнял ее, даже не зная как. В первую минуту он сам этого испугался, и если бы Тамина его оттолкнула, он смущенно отошел бы и извинился. Но Тамина не оттолкнула его, и ее искривленное лицо и отвернувшаяся голова необычайно взволновали Гуго. Женщины, несколько женщин, которых он знал в прошлом, никогда заметно не реагировали на его прикосновения. Те, что были готовы с ним переспать, раздевались и совершенно спокойно, с каким-то даже равнодушием выжидали, что он будет делать. Искривленное лицо Тамины придало его объятию значимость, о которой он никогда и не мечтал. Он яростно обнимал ее, стараясь сорвать с нее одежду.

Но почему Тамина не противится?

О подобной ситуации она думала со страхом уже три года. Уже три года живет она под ее гипнотизирующим влиянием. И ситуация эта была точно такой, какой она себе представляла. Она приняла ее, как принимается неизбежное.

Только голову отвернула. Но это не помогло. Образ мужа не исчезал и вместе с движением ее головы перемещался и он по комнате. Это был крупный образ гротескно большого мужа, в увеличенном виде, да, точно так, как она представляла себе все эти три года.

А потом она уже была совсем обнаженной, и Гуго, возбужденный ее кажущимся возбуждением, был совершенно поражен, когда обнаружил, что влагалище Тамины совершенно сухое.

Однажды ей делали без наркоза какую-то незначительную операцию, и она заставила себя при этом повторять неправильные английские глаголы. И сейчас она старалась вести себя так же, и все свои мысли сосредоточила на дневниках. Она думала о том, что скоро они будут в безопасности у отца и что этот милый юноша Гуго привезет их.

Этот милый Гуго совершал на ней дикие движения, и она только теперь обратила внимание, что он при этом как-то странно опирается на руки и вертит боками во все стороны. Она поняла, что он не удовлетворен ее реакцией, что она представляется ему недостаточно возбужденной и что поэтому он старается проникнуть в нее под разными углами, чтобы где-то в глубинах найти ту чувственную точку, которая скрывается от него.

Она не хотела видеть его судорожные движения и отвернула голову. Она старалась собраться с мыслями и снова сконцентрировать их на дневниках. Она настойчиво повторяла про себя последовательность отпусков, которую ей пока еще не полностью удалось восстановить в памяти: первый отпуск — у небольшого чешского пруда; потом Югославия; потом снова маленький чешский пруд и чешский санаторий, но в последовательности этих отпусков она не была уверена. В 1964 году они были в Татрах, а на следующий год в Болгарии, потом след теряется. В 1968 году они весь отпуск провели в Праге, на следующий год поехали в санаторий, а потом уже была эмиграция и последний отпуск в Италии.

Гуго между тем старался перевернуть ее тело. Она поняла, что он хочет, чтобы она стала на четвереньки. В этот момент она осознала, что Гуго младше ее, и ей стало стыдно. Но она старалась убить в себе все чувства и с полным равнодушием слушаться его. Потом она почувствовала твердые удары его тела. Она поняла, что он хочет удивить ее своей выносливостью и силой, что для него это ответственный бой, что он сдает экзамен но взрослого, который должен доказать, что он победит ее и что он ее достоин.

Она не знала, что Гуго ее не видит. Короткий взгляд на зад Тамины минуту назад его так возбудил, что он сразу же закрыл глаза, замедлил движения и начал глубоко дышать. Сейчас уже и он старался думать о чем-то другом /и это было единственным, в чем они были похожи друг на друга/ только, чтобы выдержать еще немного.

А напротив, на белой стене шкафа, она видела большое лицо своего мужа, поэтому она закрыла глаза и снова повто-

ряла про себя перечень отпусков, как будто это были неправильные глаголы: прежде всего отпуск у пруда; потом Югославия; пруд, санаторий или сначала санаторий, потом Югославия, пруд; потом Татры, потом Болгария, потом след теряется, потом Прага, санаторий, наконец, Италия.

Громкое дыхание Гуго пробудило ее от воспоминаний. Она открыла глаза и увидела на белом шкафу лицо мужа.

21

Когда брат приехал к Тамининой свекрови, ему не надо было вскрывать ящик. Он был открыт, и все одиннадцать тетрадей были на месте. Они не были завернуты в пакет, они лежали открыто. И письма в ящике были разбросаны, бесформенная куча бумаги. Брат положил дневники и письма в чемоданчик и поехал к отцу.

Тамина позвонила отцу и попросила его все тщательно запаковать, заклеить и, главное, чтобы ни он, ни брат ничего не читали.

Отец обиженно сказал, что ему даже в голову бы не пришло подражать свекрови и читать что-то, что не имеет к нему никакого отношения. Но я знаю /и Тамина это тоже знает/, что не взглянуть на некоторые вещи, как, например, автомобильная катастрофа или чужое любовное письмо, человек просто не может.

Личные записки были наконец-то у отца. Но важны ли они еще Тамине? Разве не говорила она себе сотни раз, что чужие взгляды — это дождь, который смывает надписи?

Нет, она ошибалась. Она мечтает о них еще больше, чем прежде, они стали ей еще дороже. Это записки захвачены и изнасилованы, как захвачена и изгажена она сама, так что у нее и у ее сувениров та же, сестринская судьба. Она любит их еще больше, но чувствует себя опозоренной.

Когда-то, когда она была еще семилетним ребенком, дядя ее неожиданно зашел в спальню и застал ее там неодетой. Ей было очень стыдно, а позже ее стыд перешел в протест. Она дала себе обет никогда в жизни не смотреть на дядю. Ей дела-

ли замечания, ее ругали, над ней смеялись, но она ни разу не подняла глаз на дядю, часто приходившего к ним в гости.

Сейчас она оказалась в подобном положении. Она была благодарна отцу и брату, но уже не хотела видеть их. Сейчас она яснее, чем когда-либо, понимала, что к ним она уже никогда не вернется.

22

Неожиданный сексуальный успех принес Гуго столь же неожиданное разочарование. Хотя спать с ней он мог, когда хотел /она не могла запретить ему того, что однажды разрешила/, он чувствовал, что ему не удалось ни заинтересовать ее, ни очаровать.

О, как ее обнаженное тело под его телом может быть столь равнодушным, столь отдаленным и столь чужим! Он ведь хотел сделать ее частью своего внутреннего мира, этого величайшего космоса, сотканного из его крови и его мысли!

Он сидит напротив нее в кафе и говорит:

— Я хочу написать книгу, Тамина, книгу о любви, да, о себе и о тебе, о нас обоих, наш самый интимный дневник, дневник наших двух тел, да, я хочу разместить в ней все табу и высказать о себе все, все, что я и что я думаю, и в то же время это будет политическая книга о любви и любовная книга о политике...

Тамина смотрит на Гуго, и он вдруг чувствует, что не может вынести этого взгляда, и теряет нить разговора. Он хотел объять ее в космосе своей крови и своих мыслей, но она совершенно замкнута в своем собственном теле, так что его слова, неразделенные, тяжелеют в устах, и их течение замедляется:

— ...Любовная книга о политике, да, так как мир должен быть по аршину человека, по нашему аршину, чтобы он хорошо сидел на наших фигурах, на твоей фигуре, Тамина, и на моей, да, чтобы человек мог иначе целоваться и иначе любить...

Слова тяжелеют все больше, они как куски неразжеванно-

го, жесткого мяса. Гуго замолчал. Тамина красивая, и он почувствовал ненависть. Ему показалось, что она злоупотребляет своей судьбой. Она взобралась на свое прошлое эмигрантки и вдовы, как на небоскреб ложной надменности, и на всех глядит свысока. А Гуго с ревностью думает о своей башне, которую он старается выстроить напротив ее небоскреба и которую она отказывается видеть: башню, построенную из напечатанной статьи и задуманной книги о их любви.

Потом Тамина спросила:

— Когда ты поедешь в Прагу?

И Гуго вдруг осознал, что она никогда не любила его и что была она с ним лишь потому, что ей нужно было, чтобы кто-то поехал в Прагу. Его охватило непреодолимое желание отомстить ей.

— Тамина, — говорит он, — я думал, что ты сама догадаешься. Ты ведь читала мою статью!

— Читала, — говорит Тамина,

Он ей не верит. А если даже и читала, то без всякого интереса. Она ни разу не заговорила о статье. А Гуго понимал, что единственное великое чувство, на которое он способен, это верность той непризнанной одинокой башне /башне напечатанной статьи и готовящейся книги о любви к Тамине/, что он готов идти в бой за эту башню и что он заставит Тамину осознать наличие этой башни и прийти в восторг от ее величия.

— Ты ведь помнишь, что в этой статье я пишу о проблеме власти, о функционировании власти. И ссылаюсь на то, что происходит у вас. И говорю об этом весьма откровенно.

— Послушай, ты действительно думаешь, что в Праге читала твою статью?

Она ранила Гуго своей иронией.

— Ты уже долго живешь за границей и забыла, на что способна ваша полиция. На эту статью было много откликов. Я получил очень много писем. Ваша полиция знает обо мне. Я уверен в этом.

— Тамина, — говорит он грустно, — я знаю, ты сердись, что я не могу поехать в Прагу. Я сам убеждал себя, что могу

отложить публикацию этой статьи, но я понял, что больше молчать не могу. Ты понимаешь меня?

— Нет, — говорит Тамина.

Гуго знает, что все, что он говорит, это чушь, приведшая его куда-то, где он вовсе не хотел оказаться, но он уже не может отступить, более того, он полон отчаяния. На его лице выступили красные пятна, голос его срывается:

— Ты меня не понимаешь? Я не хочу, чтобы у нас все кончилось тем, что у вас! Если все мы будем молчать, то станем рабами!

Тамину вдруг стало тошнить, она встала со стула, побежала в туалет, желудок ее поднимался к горлу, она стала на колени перед унитазом, и ее вырвало, тело ее содрогалось, как в плаче, она видела мошонку, яйца, член, лобковые волосы этого юноши, слышала запах из его рта, чувствовала прикосновение его ляжек на своем заду, и подумала, что не может представить себе член и лобковые волосы своего мужа, что память отвращения сильнее памяти неги /о, Боже, память отвращения сильнее памяти неги!/ и что в ее голове не останется ничего, кроме этого юноши, изо рта которого шла вонь, и ее рвало, и она извивалась, и ее рвало.

Она вышла из туалета, и ее губы /во рту все еще был кислый запах/ были твердо сжаты.

Он растерялся. Он хотел проводить ее домой, но она не сказала ни слова, губы все еще были твердо сжаты /как во сне, когда она берегла золотое кольцо/.

Он обращался к ней, но она не отвечала, только ускоряла шаги, а он уже не знал, что сказать, он молча шел рядом еще несколько минут и остановился. Она продолжала идти, не оглядываясь.

Она по-прежнему подавала кофе и никогда больше не звонила в Чехию.

Семен ГЛУЗМАН

ПСАЛМЫ И СКОРБИ

НАСТАНЕТ ЧАС...

Я не суверен, в чудеса не верю, но однажды...

Есть в Париже, на кладбище Пер-Лашез, одно привлекающее общее внимание надгробие, всегда засыпанное цветами. Среди роз и тюльпанов, между четырьмя колоннами, бюст некоего А. Кардека, отца спиритизма. Вокруг всегда люди. Легенда утверждает, что любое ваше сокровенное желание, прикоснись вы к бюсту спирита, осуществится — не просите только денег. И никому не рассказывайте...

Стыдно признаться, но я прикоснулся. Озираясь по сторонам, чтоб никто не видел. И попросил.

Вечером того же дня раздался телефонный звонок. Из Иерусалима. Некая киевлянка сообщала мне, что только что разговаривала по телефону с Семеном Глузманом. Вот его телефон, вот адрес. Позвоните, напишите.

С телефоном из Парижа в зауральскую Нижнюю Тавду, — место ссылки Глузмана, — не получается, а переписка наладилась.

В то утро, озираясь по сторонам, я попросил знаменитого спирита найти мне Глузмана. Почему не освободить, а найти — сам не знаю. Повторять просьб не положено.

10 сентября нынешнего 1981 года, Семену Глузману минет 35 лет. Когда его арестовали, ему было 26 лет, а познакомились мы с ним года за три до этого.

Как-то в Киеве, было это в году в шестьдесят восьмом, получил

я письмо от некоей незнакомой дамы. Ссылаясь на наших общих друзей, она попросила обратить внимание на одного милого юношу, с которым познакомилась, когда лежала в больнице. Он пишет, и ему нужен совет. Так вот, не мог бы я...

Я смог. Юноша пришел, принес рассказы. Тоненький, застенчивый, с очень интеллигентным лицом. Рассказы я прочел. Рассказы как рассказы. Об этом я и сказал Славику по дороге из больницы, куда я попросил его меня проводить, проведать лежавшего там моего друга.

С этого началось...

Он стал ко мне приходить. Нет, не в гости и не то чтоб по делу, а так: то принести маме лекарство, то он где-то проходил и увидел, что дают гречневую крупу, и он взял, то еще что-нибудь в этом роде. И как-то все сразу его полюбили. Был он мягок, деликатен, о поэзии не говорил. Потом стал приходить просто так, без дела. Стал принимать участие в вечерних чаепитиях, помогал маму поднимать /она была прикована тогда к постели/, подвозить на кресле к столу.

Славик читал Самиздат. Ну, кто его у нас сейчас не читает? Может быть даже не только читал, а давал еще кому-то прочесть. Это-то чтение и распространение и фигурировало потом в приговоре, отмерившем ему семь лет лагерей.

Прочесть приговор никому не пришлось. Его прочитали на суде и на руки не выдали — ни адвокату, ни родителям. А родители были так взволнованы /на чтение приговора их все-таки пустили, а так, нет, никого/ и не все расслышали, помнят только, что за "чтение и распространение" произведений Солженицына, какой-то речи или статьи Генриха Белля и пародии на роман Кочетова. Вот и все. Судья Дышель, знаменитый в Киеве специалист по инакомыслящим, спокойно произнес: "Семь лет исправительно-трудовых лагерей строгого режима и три года ссылки"...

Мы, наивные люди, пытались найти к нему, этому Дышелю, какие-то пути. Жена моего друга и его жена где-то вместе работали. Встретились тайно. Речь шла об ознакомлении с делом Славика. Хотелось его прочесть собственными глазами. Дышелева поохала, поахала, сказала, что сам Дышель очень переживает, жаль ему, мол, такого славного, такого интеллигентного мальчика, ночами не спит, но... Короче, дела мы так и не увидели, а Дышель, приняв, очевидно, перед завершением дела двойную дозу снотворного, спокойно /может, и не спокойно, а волнуясь, трудно все-таки свой долг выполнять/ объявил: семь лет!

Семь лет провел Славик в лагере...

Когда-нибудь он обо всем этом расскажет, напишет, но мне ясно одно — встретившись с ним, я обниму и расцелую не застенчивого, интеллигентного мальчика, а человека, которого даже лагерное на-

чальство побаивалось. А друзья по лагерю полюбили. Он стал борцом. И защитником. И заткнуть ему рот не удалось. Его, написанная вместе с Вл. Буковским, "Инструкция для тех, кто попадает в психушку", обошла весь мир.

Передо мной две фотографии — одна, до всех событий — молодецкий, с сигаретой во рту, смял кто-то из друзей во время первомайской демонстрации, другая — Сибирь, Нижняя Тавда, диспетчер колхоза "Большевик". Повзрослел, усы, борода, но взгляд все тот же, серьезный, может быть, более печальный, чем хотелось бы.

Не произойди всего того, что произошло, не увлекись он Самиздатом, не познакомься он с "плохими" людьми, и появился бы на свет еще один хороший психиатр. А теперь?..

Настанет дань, когда он вздохнет полной грудью. Я пробьюсь сквозь журналистов, друзей и знакомых, отобьюсь ото всех и, заметая следы, скроемся мы в одном из излюбленных мною парижских кафе, не скажу каком, возьмем по кружке пива /не больше, Славик мне не разрешит/, взгляну я на него после более чем десятилетнего перерыва и спрошу:

—Ну?..

И он мне начнет рассказывать... Что? На знаю. Но жду этого дня и часа, он настанет, это я знаю. И верю.

Нет, не зря я пошел тогда на Пер-Лашез.

Виктор НЕКРАСОВ

ЗАПАХ СВОБОДЫ

Сейчас Семену Глузману 34 года, семь лет он провел в лагерях, живет теперь в ссылке, в Западной Сибири, — осталось еще 2 года, может быть, после этого он вернется в Киев. А может быть, и нам доведется увидеть его. Киев ему дорог, в письмах из лагеря он неизменно говорил о своем родном городе с нежностью, и то, что один за другим уезжают безвозвратно, его больно ранит: "...ее отъезд немножко надрывен и для меня — и не только потому, что остаюсь в мире ином, даже совсем не потому, просто от моего Киева, весьма малого и сугубо личного, отламываются все новыми кирпичики. Что же, так тому и быть, тем более, что и мой кирпич давно отпал".

Я читал многие письма Семена Глузмана, адресованные его родным, — они производят глубокое впечатление: зрелостью мысли, твердостью тона, отражающей твердость характера, а главное — высотой духа. Никогда ни одной жалобы. "Все идет нормально, привычно, я здоров и работоспособен... Перевыполняю норму, кормят до-

сыта... Не тревожьтесь..." Можно подумать, что ему хорошо, — лучше, чем им на воле. Хорошо ли ему? Так ли уж легко на суровом морозе выполнять норму по распиловке дерева? Трудно, одиноко, безнадежно — иногда, но дух парит надо всем: "...прошу папу уточнить все данные о книге /привожу по памяти/ "Психология и психопатология одиночества", авторы Лебедев и Кузнецов... проблема — космические полеты и психология /на базе института космической медицины/... У нес на полке стоит книга серого и синего цвета "Эмоциональный стресс"... Из периодики прошу подписать мне "Лит. газету", "Книжное обозрение", "Мед. газету", "Ведомости Верх. Совета СССР", "Судебно-медицинскую экспертизу", Медицинский реферативный журнал /"Психиатрия"/, "Вопросы психологии", "Иностранную литературу", "Новый мир", "Декоративное искусство"... И тут же, в тех же письмах, оценки прочитанного: "Урок немецкого" Зигфрида Ленца, "Игра в бисер" Германа Гессе, романы Уайльдера и однотомник Камю, и еще, и еще... И все это ему надо не для эрудиции, не для щегольства или модничанья, а внутренне — для решения собственных жизненно важных вопросов: зачем и как существовать дальше?

На душу читателя этих строк ляжет легкая тень зависти: неловко, когда другой живет интенсивней и плодотворней тебя, особенно же совестно, если ты не свободен: не только не в лагере, но даже за пределами СССР. Как же ты используешь эту свою баснословную свободу? Что ты делаешь с ней?

Каждый — по-своему. Один пользуется свободой для того, чтобы описывать подробности "телесного низа", другой — для поездок, которые недавно еще казались несбыточной сказкой, третьи — для учреждения нового режима несвободы, четвертые — для борьбы за освобождение тех, кто угнетен. Но каждый из названных имеет основание смотреть на ссыльного Глузмана с затаенной завистью: и в зоне №35, и в зоне №36 он был истинно свободен — по-своему, но и по-настоящему. Это дано не всем, — на такое отношение к бытию способен лишь человек высокого духа. Вот отрывок из его письма другу:

"Ваш мир, кроме всего прочего, полон и естественности: кастрюль, любви, детей, аптек и т.п. И хоть какого-то выбора. Но не выбор — символ его, а предопределенность. Пусть слаще, разнообразней, естественней, пусть легче... но к прошлому я бы не мог вернуться. Иные у меня теперь ценности. Иная мера.

Я, знаешь ли, свободен. Может, тебе это трудно представить, трудно поверить в мою искренность... Но это так. Именно поэтому сегодня понятие мне, живому, ирония — правда надписи на могиле Мартина Лютера Кинга. А вчера не была так понятна. И страшна.

Я свободен не только в мыслях, не только в чувствах. Свободен в словах, взглядах, отношениях. Я не смог бы жить по-прежнему. Работать, как работал, говорить, как говорил, любить, как любил. И поэтому ценю свою объективно существующую свободу.

Иногда я вспоминаю запахи... Море, соль, сладкая горечь, рыба, поле... Но никогда не тоскую. Потому что теперь здесь я свободен. А вкус и запах истинной свободы всегда слаще...

...Прощаюсь с Киевом. Оставляя себе десяток /или два/ лиц, несколько домов, сотни воспоминаний. Перебираю их пальцами, перекладываю, смешиваю... пасьянс, коктейль, — назови как хочешь, но только это мое. Почти по Льву Шестову: "одиночество, глубже которого не бывает под землей и на дне морском, есть начало и условие приближения к последней тайне".

Редко, очень редко я пытаюсь представить будущее. Просчитываю разные варианты и всегда смотрю оттуда на сегодня. И когда мне удастся проникнуться этим будущим настолько, чтобы поварить в него, как в реальность, я пугаюсь самого себя. Тогда я вижу противоположность сегодняшних моих дней, всех этих теоретических построений. Да и ценностей. Так будет: будет страх, не приведи Бог, перед возможностью повторения, перед мыслью о возможности его. А пока живу днем сегодняшним. Обогащаю родное государство количеством сумок на душу населения. Тем и сильны..."

Понятно, что человек, так высоко поднимающийся над собственной судьбой, мыслит как поэт. В письмах 1976 — 1977 множество стихов, составляющих сборник, который автор назвал "Псалмы и скорби". В этом названии объединены две древние традиции, библейская и античная, — причем и та, и другая дошли до наших дней: первая обогатила поэзию Анны Ахматовой, вторая — Осипа Мандельштама, Верлибры Семена Глузмана — глубокое обобщение трагических переживаний его современников.

Е. ЭТКИНД

СТИХИ СЕМЕНА ГЛУЗМАНА

ПЛАЧ ИОВА

Войти в свой дом,
Где двери приоткрыты,
Где ждут
И будут ждать.
К тюльпану на столе,
Затертым старым плитам,
Качелям во дворе.
В дом на своей земле,
Где жить, любить, страдать,
Быть мудрым у огня,
Расслабленным в застолье,
Любимым по ночам
И ласковым с детьми.
...Дом на моей земле,
моей послушной воле,
К молчащим кирпичам
Меня скорей возьми;
Из северной войны
Возьми к цветам и миру,
К обычаям страны.
К Закону праотцов.
Возьми меня, мой дом,
Я твой хозяин,
Иов.

ПЯТИСТИШИЯ

Безжизненностью
Медленного снега,
Сомнительностью
Тающего дыма
Приходит мысль.

Бесстрашием
Привычного поступка,
Согласием
Украденной невесты
Приходит слово.

Родившейся
Любовью материнства,
Явившейся
Хвостатостью кометы
Тоска приходит.

Решительностью
Хлопающей двери,
Пронзительностью
Девушки-калеки
Проходит жизнь.

ЧЕРНОМУ МОРЕ

Море, ласковое,
Теплое,
Синее,
Отзовись!
Расскажи мне лето
Шепотом гальки
В твоих волнах,
Блестками рыбьими
В твоих водах,
Ненасытной чайкою
В твоём небе,

Васильковой россыпью
В твоём хлебе;
Красками,
Ветрами,
Звуками,
Утрами;
Вином,
Костром,
Сочными мидиями
И, не забудь, звездами...
...а я расскажу тебе
Зиму.

В СНЕГУ

Когда в снегу и день и сон,
Приходит час.
Когда метель теснит тепло,
Приходит миг.
Тогда твой враг — суровый лес,
И свет
И мир.

Когда в углу таится тень,
И нет свечи.
Когда иссякли все слова
И смысл иссяк.
Тогда во льду молчит трава,
И кровь,
И стон.

Когда зовет туманный страх
В густую ночь.
Когда в ушах звенит тоска
В октавах строф
Тогда в снегу упрятан мир,
И Бог,
И ты.

ПОТОМ. КОГДА-НИБУДЬ...

Вернется день сумятицею строк,
Таинственностью выписанных знаков,
Я восприму сегодняшний урок,
Тоскующий по прошлому Иаков.

Я подниму из паутины плед,
Протру от пыли снег весенней ночи
Из этих снов, из этих слов и бед,
Из этих зим и частых многоточий.

Где пустотой означены слова,
Где за словами — вязкие длинноты,
Где так болит молчаньем голова,
И мир болит раскаяньем Субботы.

И ужаснусь Упрямству своему
И призраку в себе открытых истин,
Утраченным годам и канувшим во тьму
Своим надеждам, страхам, верам, мыслям.

Я оглянусь на этот белый бред,
Заполню словом созерцаний сумрак.
И вспомню все. И ужаснусь вослед.
Потом. Когда-нибудь. Весенним, теплым утром.
19 апреля 1977 г.

ПРЕВРАЩАЯСЬ В СЛОВО

Мне снятся слова,
Отчужденные от явлений,
Голые слова,
Длинные и короткие,
Громкие и привычные,
Мудрые и пустые,
Просто Слова:
женщина, лишенная тепла и лона,
Море — без воды и рыб,
Праздник — без фейерверков
И застолья, без свободы.

Слова, отчужденные от явлений,
От красок и запахов,—
Лишенные плоти,
Живут особенной жизнью,
Туманные привидения
Покинутых людьми замков:
Женщина, лишенная тепла и лона,
Море — без воды и рыб,
Праздник без фейерверков
И застолья, без свободы.
В мире слов, абстрактных,
Как размышления о Добре,
Я превращаюсь в слово,
Лишенное смысла,
Лишенное связей...

Я сплю уже пятый год.

НЕ ЖДИ

Сквозь чащобу однообразия,
Сквозь глубины самообмана,
Сквозь страх,
Сквозь трезвость
— Люби меня.

В небе тусклом,
Травах жухлых,
Стылой земле,
Мгле
— Ищи меня.

Приду к тебе шорохом
Несказанных слов,
Приду к тебе порохом
Несбыточных снов,
Сиреневым облаком
К закату дня...
...Не жди меня.

RUBATO

Для моря с рыбами,
 Для поля с птицами,
 Для дома с женщиной
 — Я мертв.

Для сна без просыпу,
 Для странствий,
 Нежности
 — Я мертв.

Слышишь? Родился сын человека,
 Пусть будет он добрым!
 Под этим небом,
 На этой Земле,
 В этом мире
 Пусть будет он счастливым...
 Говорят, это прекрасно:
 Быть счастливым по-доброму.
 Говорят...

Я так давно не видел
 Ребенка...

* * *

Веселому мотыльку
 Пьющему нектар
 В цветниках Ягве
 Отдам свою память

Замшелому камню
 С иероглифами
 Дождей и ветра
 Отдам свою душу

Белому облаку
 С фестончатыми краями
 Плывущими в небе Ягве
 Отдам свою жизнь

— Мотылек уйдет в кокон
 Покроется льдом камень
 И заплачет по мне туча...

ТЕБЕ

Медленные как гусеницы
 Сухие как слова
 Мысли о тебе

Лабиринт бессонницы
 Кружево тоски
 Память о тебе

Я в беспамятстве
 В лихорадке
 Вижу тебя

В днях отсеянных
 Погребенных
 Знаю тебя

* * *

Новорожденные каштаны
 Явившие глянец миру
 Проросли стрелками

Душистое сено
 Полночного луга
 Поросло памятью

Вечность
 Окрашена тихим Вчера
 Чучелом
 Бога Камы



ПУБЛИЦИСТИКА. ПОЛИТИКА.
КРИТИКА.

Предлагая вниманию читателей статью Льва Наврозова, редакция считает ряд ее положений спорными. Мы не согласны и с некоторыми оценками автора. Вместе с тем, следуя традиции предоставлять трибуну для выражения различных точек зрения, в том числе самых парадоксальных и неожиданных, редакция решила познакомить читателей и с этим выступлением, оценивающим крупнейшую американскую газету с резко критических позиций.

Лев НАВРОЗОВ

СМЕРТЬ - ЭТО МЫ САМИ

"Нью-Йорк Таймс" и русская литература

Отдел книги газеты "Нью-Йорк Таймс" опубликовал 7-го сентября 1980 года обзор русской литературы в эмиграции, то есть по существу — всей свободной литературы на русском языке.

Обзор состоит из двух частей, и первая его страница наглядно разделена пополам. Верхняя половина посвящена поэту-эмигранту Иосифу Бродскому и украшена его портретом, который занимает всю колонку до середины страницы, и далее следует еще один его портрет. Вторая же половина этого дитиха посвящена всем остальным представителям свободной русской литературы вместе взятым — от Набокова до Солженицына и далее, набитым в эту половину в виде бегло очерченной мелюзги или паусной массы. Разумеется, никаких портретов тут нет, а изображен городской пейзаж.

И это неслучайно. Первая часть принадлежит перу маститого профессора, вроде советского академика-пушкиниста. Вторая же написана разбитной репортершей, представленной читателям лишь как автор книги "Истории ночного Нью-

Йорка". То есть "остальная" свободная русская литература вне Иосифа Бродского — это как бы "Городская хроника: русские в западном городе", описывать которых как раз и подстать автору историй о проститутках, сутенерах и наркоманах.

Замысел этого дуплета прост. Если опубликовать одну профессорскую статью об Иосифе Бродском, то проку будет немного. Даже соответствующие профессора, читающие подобные профессорские статьи, ее бы вскоре забыли. Иное дело, когда рядом статья о всей прочей свободной русской литературе. Это как на фотографии человеческая фигурка рядом с фабрикой-гигантом: все видят благодаря фигурке как огромная фабрика-гигант. Масштаб, словом. Благодаря статье о всей "остальной" русской свободной литературе, в которой Набоковы, Солженицыны и прочие предстают в виде едва различимой мелюзги, все лица, которым это нужно видеть /члены Нобелевского комитета, издатели, редакторы, профессора-литературоведы/, видят, как огромен Иосиф Бродский. Я бы сказал: он огромен, как основатель пролетарской литературы Максим Горький или как лучший, талантливейший поэт нашей эпохи Маяковский на плакатах нашей юности. Кстати, графически, по композиции, монтаж и напоминает эти плакаты. Огромная фотография в половину плаката, а внизу — мелюзга.

Однако это первое, чисто зрительное впечатление оказывается обманчивым. Вторая часть лишь внешне посвящена "остальной" свободной русской литературе, а на самом деле и она тоже об Иосифе Бродском. Оказывается, вся эта мелюзга второй части монтажа не просто для масштаба. Это — народ, массы, растущие таланты, которых Иосиф Бродский отечески пестует, притом неустанно:

"Он добрый, отзывчивый и бескорыстный человек, поэтому люди так к нему тянутся — и как к поэту, и как к человеку".*

"Люди так к нему тянутся". Нет, это даже не "Воспоминания о Максиме Горьком". Скорее — памятка депутату

* Статья цитируется по ее переводу на русский язык в газете "Новый американец" /15-20 сентября 1980 г /

районного совета. В этой, второй части обзора, посвященной якобы "остальной" русской свободной литературе, Иосиф Бродский появляется или, я бы сказал, является, раз этак двенадцать. Так что весь остальной текст — это лишь вставки между явлениями Иосифа Бродского народу, людям, мелюзге.

Иосиф Бродский ввел в американские издательские круги не одного только Алешковского. Сергей Довлатов называет Бродского "моим уполномоченным", потому что Бродский порекомендовал "Юбилейного мальчика" редакции "Ньюоркера". "Иосиф всем помогает, — говорит редактор "Руссики" Александр Сумеркин. — Он в Нью-Йорке, как притягательный центр. Кто бы ни нуждался в работе, все обращаются к нему, и он делает все, что в его силах".

Обратите внимание: ведь статья-то не об Иосифе Бродском, а, наоборот, обо всей остальной русской литературе вместе взятой. Но в пяти фразах и этой статьи Иосиф Бродский упоминается семь раз /Иосиф Бродский, Бродского, Бродский, Иосиф, он, к нему, он/.

Как однообразны некоторые явления на разных ступенях общественной лестницы! Помните? "Говорят о Сталине — что это такое? Передача о Сталине. Опять говорят о Сталине — что это такое? Передача о Чайковском". Но тут, мне кажется, даже острее. "Пишут о Бродском — что это такое? Статья о Бродском. Пишут опять о Бродском — что это такое? Статья о всех остальных поэтах, прозаиках, мыслителях, редакторах, критиках, эссеистах, мемуаристах и других представителях свободной русской литературы вместе взятых".

Иначе говоря, если первая статья изображает Иосифа Бродского — нет, не как лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи, а как вообще единственного русского поэта из ныне живущих, то статья об остальной свободной русской литературе изображает его как человечнейшего из людей, отца, учителя и друга этой русской литературы.

"Но позвольте, — скажет иной придирчивый читатель. — Могу себе представить, что Довлатов и его газета "Новый американец" занимает столько места во второй части монтажа, посвященной мелюзге, поскольку Довлатов — еще один /яркий/ пример неустанной заботы Иосифа Бродского о свободной русской литературе/ в то время как "Новая газета",

естественно, не упомянута ни словом/. Но как быть с Набоковым? Какая он ни есть мелюзга по сравнению с Бродским, но не благодетельствован же он Бродским, как Довлатов и прочие. По времени никак не выходит".

Дело в том, что многие читатели "Нью-Йорк Таймса" плохо представляют себе, что Набоков старше Бродского и даже вроде как ушел в страну умолкнувших навеки. Что они скажут, прочтя вот такой обзац второй части монтажа, то есть статьи о всех прочих?

В мае месяце Поляк подготовил литературный альманах "Часть речи", который называется так же, как последний сборник стихотворений Иосифа Бродского. В первом выпуске этого альманаха, приуроченного к юбилею Бродского, которому исполнилось 40 лет, помещены произведения самого Бродского, Алешковского, Довлатова, Владимира Набокова...

Такие американские читатели скажут, что у Бродского выросла целая плеяда подающих надежды учеников и среди них подвизается после Довлатова и Алешковского некий... Владимир Набоков. Бродский, Довлатов, Алешковский идут по фамилии, без имени /вот что значит международное признание/, и только некоего Набокова пришлось дать с именем, а то ведь, если кто его и знает, так обязательно с его братом спутает.

В конце этого Пролога возникает вопрос: "А зачем я вообще обращаю внимание на всю эту чушь?"

Я закончил книгу о корпорации "Нью-Йорк Таймс и Ко.". Корпорация эта — предмет моего изучения, и вышеприведенная агитпропреклама неизбежно попала в поле моего зрения.

ЧТО ТАКОЕ "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС"?

Лучший способ определить, что такое "Нью-Йорк Таймс" — это дать пример деятельности этой организации.

В 1969 году главный редактор международного издания этой газеты по имени Герман Динсмор, отдавший ей 33 года своей жизни, осмелился напечатать свою книгу "Все подхо-

дящие для нас новости"* . Я намеренно говорю "напечатать", а не "опубликовать", ибо в стране, где типографская печать — право каждого, факт напечатания книги типографским способом означает не более, чем ее печатание на машинке. /"Опубликовать" значит не просто "напечатать", а получить содействие мощной сети рецензирования, оповещения и продажи книги./ Так или иначе, Динсмор выступил с критикой своей организации. И что же? Он был убит, как Троцкий? Разумеется, нет. Физически он, возможно, жив и стал процветающим страховым агентом. Но в сфере культуры всемогущая корпорация "Нью-Йорк Таймс и Ко." уничтожила своего бывшего руководителя более бесследно, чем советский режим Троцкого. Имя убитого им Троцкого советский режим продолжал упоминать, и это имя знает каждый советский школьник и поныне. Имя же Динсмора тут же исчезло, а, судя, например, по последней книге Гаррисона Солсбери о газете "Нью-Йорк Таймс", ни Германа Динсмора, ни его книги нет и никогда не было.

Уничтожение в области культуры — это полное забвение. Волос не должен упасть с головы обреченного. Шум производит даже падающий волос. А для полного забвения необходима абсолютная тишина.

Но как же "Нью-Йорк Таймс" добилась такого потрясающего единства? Успех книги, притязавшей на "серьезность" /то есть не бульварщины/, зависит от рецензий. В то время как, скажем, книга Гаррисона Солсбери, представляющая собой льстивое восхваление газеты "Нью-Йорк Таймс", была засыпана столь же приторными рецензиями, включая две рецензии в самой газете "Нью-Йорк Таймс", единственное из 225 крупнейших периодических изданий, которое напечатало рецензию на книгу Германа Динсмора, свело ее к трем абзацам: в первом рецензент уверяет читателя в своей беспристрастности, во втором осыпает книгу бранью, а в третьем заключает, что ее читать не следует.

* Официальный девиз газеты "Нью-Йорк Таймс" — "Все подходящие для печати новости".

Может быть, Гаррисон Солсбери заслуживает любых славословий, а Герман Динсмор такое ничтожество, что само его имя должно бесследно исчезнуть?

Но я помню, что, когда нам с товарищем было по девять лет, мы задавались вопросом: "Если Троцкий был таким ничтожеством, то как же он был соратником гениального Ленина? Свое злодейство ничтожество может ловко скрыть, но как же ничтожество может изображать гения так успешно, что и сам гениальный Ленин принимал его за такового?" Я прилагаю свой детский вопрос к Герману Динсмору: "Если он такое ничтожество, то как же он занимал такой высокий пост в газете "Нью-Йорк Таймс"?"

Как физическая советская тирания, культурная тирания корпорации "Нью-Йорк Таймс" действует, превращая в жертву любого, кто посмеет заступиться за жертву. И, наоборот, льстивого, послушного, полезного "Нью-Йорк Таймс" осыпает наградами, а их у нее не меньше, чем у советского режима. "Кого еще убьешь, кого прославишь, какую выдумашь ложь?" Убить несогласного "Нью-Йорк Таймс" физически не может, а может только лишь убить его, как писателя, поэта, мыслителя, критика.

КАК Я СТАЛ ГЕРМАНОМ ДИНСМОРОМ

Приехавший в новую для него страну — ребенок в этой стране, каким бы экспертом по этой стране он ни был у себя на родине. По приезде мое отношение к газете "Нью-Йорк Таймс" было, как у советского дошкольника к газете "Правда": раз сама газета называется "Правдой", то уж наверное все, что она печатает, правда до последней запятой. Столкновение, увы, было неизбежным.

Читая в "Нью-Йорк Таймсе" краткое описание ежегодных показаний Центрального Разведывательного Управления Конгрессу о советском режиме, я открыл, что ни "Нью-Йорк Таймс", ни Центральное Разведывательное Управление ничего не понимают в советском режиме, современной разведке и тем более разведывательной деятельности против совет-

ского режима*. Мне сказали, что, если я желаю, чтобы мое открытие получило общественный ход, оно должно быть рассмотрено Конгрессом, а Конгресс ничего не рассматривает, если вопрос не освещен на страницах газеты "Нью-Йорк Таймс", которая является как бы неофициальным, частным официозом.

Подобно тому как правоверный советский школьник, открывший что общество, которое якобы почти уже бесклассовое, состоит на самом деле из каст, а не просто из классов, спешит довести свое открытие до сведения "Правды" /воображая, что та об этом ничего не знает/, так и я поспешил довести свое открытие до газеты "Нью-Йорк Таймс". Я воображал, что главный редактор выбежит с сияющим лицом в приемную, объявит свистящим шепотом, что статья уже пошла в набор, и спросит, воркуя, что мне надо для того, чтобы исследовать поднятый вопрос глубже — газета не постоит за расходами, не нужен ли мне личный вертолет?

Произошло, однако, следующее. "Нью-Йорк Таймс" всегда яростно защищала американо-советские соглашения об ограничении стратегического оружия. Если же моя статья верна, то выполнение этих соглашений советской стороной американская разведка проверить не может, хотя и утверждает обратное. Значит, "Нью-Йорк Таймс" обрекает Соединенные Штаты на уничтожение с помощью соглашений, которые будут выполняться лишь одной стороной — американской. Как же "Нью-Йорк Таймс" могла напечатать мою статью?

В демократии должны быть по крайней мере две равных по влиянию газеты типа "Нью-Йорк Таймс", одна в оппозиции к другой. Подобно тому как есть две противостоящие партии. И если одна из газет-соперников за советско-американские соглашения об ограничении стратегического оружия, то другая должна доказывать, что выполнение этого соглашения советской стороной проверить нельзя, и, еле-

* См. русский вариант моей статьи на эту тему "Что знает западная разведка о России", "Время и мы", № 37, 1978.

довательно, такие соглашения означают гибель. Но ничего подобного нет. У "Нью-Йорк Таймса" нет равной ей по силе оппозиции, и поэтому не происходит никакого спора, из которого рождалась бы истина.

Я считаю, что подобное положение может быть опаснее даже тоталитарного строя. "Государство — это я", говорили монархи абсолютизма. При тоталитарном строе до некоторой степени сохраняется это отождествление. Владельцы России и населения России отнюдь не хотят, чтобы население России было бы просто так, за здорово живешь, уничтожено врагами. Ведь население России — это, в конце концов, их собственность, их государство, на худой конец, их тягловый скот.

Но корпорации "Нью-Йорк Таймс" нельзя сказать: "Ваше величество, что Вы делаете? Как Вы можете одобрять эти соглашения об ограничении стратегического оружия? Ведь это же гибель ваших подданных — вашего государства". "Позвольте, — скажет "Нью-Йорк Таймс", — да вы что не знаете, что мы частные лица и в стране свобода слова? Да мы вот будем защищать любые советско-американские соглашения шутки ради, и все равно это не ваше собачье дело".

Получилось наихудшее из возможных сочетаний: "Нью-Йорк Таймс" выступает в виде непрерываемого официоза, не имеющей оппозиции лже-государственной газеты, всесильной культурной монополии, но в то же время представляет собой сугубо частных лиц, не несущих никакой ответственности ни перед кем и ни перед чем.

Что говорит по этому поводу сама "Нью-Йорк Таймс"? На всем протяжении своей только что вышедшей книги "Без страха и пристрастия" Гаррисон Солсбери хвастается монополией "Нью-Йорк Таймса", но уверяет читателей, что от этой монополии человечеству одна польза, потому что "Нью-Йорк Таймс" так уж создана, чтобы говорить правду "без страха и пристрастия и не взирая ни на какую партию, секту или интересы". Более того. "История газеты "Нью-Йорк Таймс", восклицает Гаррисон Солсбери в предисловии к своей книге, — это история борьбы против того, что поэт

Роберт Блай однажды назвал "американской системой лицемерия", против замкнутой вселенской лжи /как выразился Блай, "лгут министры, лгут профессора, лжет телевидение, лгут священники"/". Как бы в беспроглядной ночи лжи горит с 1896 года одинокий светоч правды. Мне непонятно, почему "Нью-Йорк Таймс" не называется не просто "Правдой", а "Светочем правды" или даже "Единственным светочем правды в мире лжи". Так или иначе, Гаррисон Солсбери полагает, что оппозиция, несогласие, спор для "единственного светоча правды" совершенно излишни.

КАК НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС ЗАЩИЩАЛА СТАЛИНА

Я разбираю в своей книге деятельность "Нью-Йорк Таймса" за 60 лет. С начала 20-х годов этот единственный светоч правды не только оправдывал и славословил Сталина и его режим, но и обезвреживал опасные в этом отношении сведения из других источников.

Ничего нет нелепее для страны англо-саксонского права, чем сталинские "судебные процессы". "А где же доступ юриста к подзащитному через 24 часа после ареста? — мог бы сказать любой американский школьник. — Где исследование вещественных доказательств экспертами подзащитных и где сами вещественные доказательства? Где же свидетели защиты? Наконец, где же присяжные, выбранные с участием адвокатов подзащитных?"

Казалось бы, ни одна газета в странах английского языка не взялась бы убеждать своих читателей в правовой состоятельности этих "судебных процессов". Но "Нью-Йорк Таймс" не испугалась трудностей, созданных безграмотными сподручными Сталина для стран английского языка.

Газета построила изложение "второго процесса" /"суда" над Радеком и другими в январе 1937 года/ в виде полемики между бесменным московским корреспондентом "Нью-Йорк Таймса" Уолтером Дюранти и корреспондентом "Ассошиэтед пресс", с одной стороны, и Троцким — с другой. Таким образом, внешне все как будто обстояло прекрасно:

"Полемика между двумя сторонами. Что ж вы хотите?"

Увы, подобно тому как "сталинские процессы" являлись инсценировкой суда, описания спорных событий являются до сих пор в "Нью-Йорк Таймсе" инсценировками полемики, спора, дискуссии. В спорте есть понятие "фикс". Это значит, что поражение боксера организовано заранее.

В 1973 году газета взяла в качестве сотрудника Уильяма Сафайэра, так сказать, "штатного оппозиционера", и в 1975 г. он выступил на страницах "Нью-Йорк Таймса" за военную помощь Камбодже, в то время как "Нью-Йорк Таймс" была против нее. Но в спорте такой "фикс" был бы неприемлем, как шитый белыми нитками толщиной в палец. Газета дала своему "штатному оппозиционеру" возможность высказаться один раз, а за то же время его противнику, Энтони Льюэсу, — шесть раз. Как я пишу в своей книге: "Это все равно, что позволить одному боксеру нанести удар, в то время как один из его противников имеет право нанести ему шесть ударов подряд, а трое других тяжеловесов бьют его справа, слева и сзади и, кроме того, целой толпе любителей-энтузиастов разрешается хватать его за ноги, швырять в него пивными бутылками и дергать его за волосы".

Нужно ли говорить, что "полемика" окончилась разгромом Уильяма Сафайэра: в помощи "старому правительству" Камбоджи было отказано, и в результате "новым правительством" было истреблено от одной трети до половины населения. "Нью-Йорк Таймс" пыталась опять же скрыть это в течение нескольких лет, "обезвреживая" все сведения из других источников, пока скрывать это событие стало невозможным — ведь и "Правда" иногда бывает вынуждена "признать" событие. Более того, чувствуя, что кровь еще невиданного в новой истории истребления мирного населения на ее руках, "Нью-Йорк Таймс" выдумала задним числом басню, что во всем виноват Ричард Никсон, потому что он-де пытался уничтожить северовьетнамские базы в Камбодже.

То, что газета "Нью-Йорк Таймс" выбрала Троцкого как единственного полемиста, представляющего противную сторону во время "суда" 1937 года, было, как выбор боксера, который вообще ничего не знает о боксе.

Полемика — весь ее ход, выбор доводов, отражение доводов противника — в странах английского языка отличается от полемики в России даже начала столетия. Кроме того, полемика Ленина, Троцкого и других была убедительна только в их партийных кругах или когда за ними стояла вооруженная сила. Когда же Троцкий был вынужден полемизиро-

вать с англо-саксами, то оказалось, что его полемика на английском языке — это сумбурная болтовня с точки зрения англо-саксонского восприятия полемики.

"Полемика" между "Нью-Йорк Таймсом" и Троцким в 1937 году, разумеется, окончилась разгромом Троцкого: Радек и другие — это чудовищные преступники, в частности, агенты гестапо, а сам Троцкий, их сбежавший предводитель, пытается весьма невразумительно оправдаться /а какой же махровый преступник не стремится обелить себя?/. Ну а как насчет семи миллионов, исчезнувших в 1937 и 1938 гг. вообще без суда? В первый день процесса 1937 года сообщение Уолтера Дюранти посвящено в основном ужасной новости — "ленским расстрелам". Правда, это случилось в начале века, но корреспондент "Нью-Йорк Таймса" и "весь советский народ" и в 1937 году не могут оправиться от этого ужаса. Подумайте: полиция открыла огонь по демонстрантам, Уолтер Дюранти не сообщает число жертв "ленских расстрелов". Какое тут может быть число? Это кровавая бойня, попытка Николая Кровавого утопить народ в крови, это кровавое, кровавого, кровавому, о кровавом, море крови, по колено в крови.

В свободном обществе любой источник имеет право лгать как угодно. Но дело в том, что "Нью-Йорк Таймс" — монополия: нет соревнования, спора, несогласия, которое было бы можно выразить в столь же влиятельной газете, находящейся в оппозиции к "Нью-Йорк Таймсу".

Те, кто сравнивали произведения Всеволода Иванова, Чуковского, Шкловского и многих других в России до и после 30-х годов, не могли не подумать, что где-то в 30-х годах этих лиц подменили в лучшем случае на их подражателей, а то и вовсе посторонних. Это перерождение, одичание, гибель литературного слуха приписывались целиком тоталитарному режиму Сталина.

Но вот редакция американского журнала прислала мне на рецензию только что изданный роман Ирвина Шоу "Вершина горы". В культуре, созданной "Нью-Йорк Таймсом", подобные романы превозносятся как прижизненная классика, изыск, литература для избранных.

В 30-х годах Ирвин Шоу был писателем. Я не говорю, каким. Писателем. Этим сказано многое, если не все. Роман "Вершина горы" написан не писателем. Этим тоже сказано, возможно, все. И между

этимися понятиями лежит бесконечность. Но поскольку я должен был написать рецензию в 10—12 машинописных страниц, то я объяснил на примерах из романа "Вершина горы", что когда прозу или тем более поэзию /а не мемуары, заметки, статью/ пишет не писатель, то каждое его слово так же фальшиво, как звук скрипки, когда по ней начинает водить смычком не музыкант.

Казалось бы, совершенно безобидная организация — "Нью-Йорк Таймс" /и волос не упадет ни с одной головы/. А итог для культуры тот же, что и убийство Сталиным шестиста писателей в 30-х годах. Для того чтобы разрушить культуру, не обязательно убивать писателей. Отнюдь нет. Ее можно разрушить так, что и волос не упадет с головы Ирвина Шоу, а был ли напечатан худший роман в России Сталина, чем "Вершина горы", — это еще вопрос.

Некий эмигрант из России писал на страницах "Нью-Йорк Таймса", что все же самое скверное западное чтиво морально выше советских пропагандистских романов.

Я видел американских халтурщиков и советских халтурщиков. Конечно, в геополитическом контексте сегодняшнего дня первые — это просто разрозненные литературные гангстеры, а вторые — это тоталитарные литературные солдаты в едином глобальном строю. Но как личности, первые страшнее, беспринципнее, беспощаднее вторых. На пути к миллионам их реакции мгновенны. В преуспевании советских халтурщиков есть нечто жалкое. Я вспоминаю моих знаменитых соседей по поселку "Московский писатель": нечто патриархально-деревенское. То ли дело американские халтурщики. Деньги не пахнут. Бездна тоже. Свобода? Да, только в свободе и открываются, как деньги, не пахнущие бездны.

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Теперь позвольте перенестись мысленно в тот год, который называется последним предвоенным годом царской России, год 1913-й.

Вот десяток живших-творивших в то время поэтов, имена

которых я извлекаю из памяти без всякого порядка: Блок, Биск /единственный переводчик Рильке/, Георгий Иванов, Ходасевич, Цветаева, Пастернак, Ахматова, Хлебников, Маяковский, Есенин, Мандельштам. Получилось не десять, а двенадцать, но жалко вычеркивать. К счастью, никого из этих двенадцати никакой всеильный царский двор /такого уже не существовало/, никакой Сталин и никакая культурно-всеильная лжегосударственная газетная монополия не возвела в ранг "лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи" или даже "человечнейшего из людей". Нобелевскими, сталинскими, ленинскими, государственными и другими премиями бог их также миловал. Потом, спустя почти четверть века после угасания своего творчества, в иной жизни, на том, послесталинском свете, один из них получил Нобелевскую премию /"А я Нобелевскую премию получил, э-э-э!" — хватило у него огня состричь, подражая ребенку, который вышел во двор похвастаться/.

Поэзия бесконечна. Каждый поэт был бесконечностью в ином направлении. Разве можно бесконечности выстроить по росту и присваивать им чины? Они были поэты, аристократы духа, пэры, равные /английское слово "пэр" означает "равный"/.

В детстве я читал советскую книгу о Бетховене, а в юности видел трофейный немецкий фильм о нем же: в обоих случаях авторы исказили известные биографические факты, чтобы исторгнуть у меня слезы, доказывая, что гения всегда и везде /кроме разве России Сталина и Германии Гитлера/ не понимают или преследуют либо власть, либо среда. Ни одного из вышеупомянутых не преследовала до 1917 г. ни власть, ни среда. Конечно, соответствующая профессура-бюрократия их не понимала, пока их признание не стало ходячей истиной. Но какое же значение имела гуманитарная профессура-бюрократия в России?

В Америке слова "чиновник", "профессор", "доктор философии", "президент университета" вызывают такой же священный трепет среди мещанства, какое в Пруссии некогда вызывало слово "офицер". А левиафанов рост чиновниче-

ства часто лишь приветствуется американской интеллигенцией уже хотя бы потому, что поэты или литературные критики сами чиновники, и чиновниками рвутся стать почти все "серьезные писатели" и "интеллектуалы".

В России само слово "чиновник" получило столь презрительный смысл /вспомним отношение Чехова к чиновничеству/, что в 1917 году оно было отменено как официальное название. У того же Чехова профессор-гуманитарий /"Черный монах"/ — чиновник, в котором лишь клиническое сумасшествие неординарно. "О Боже, какая насмешка, так трудно, так празднично жить, чтоб быть достоянием доцента /!/ и критиков новых плодить". Высокой пробы критики-одиночки /Розанов, Шестов, Айхенвальд, Гершензон, Чуковский/ не получали жалованья, а жили, как и Блок, с продажи своих произведений.

В чиновничьей России литература существовала как свободное предпринимательство, а в стране свободного предпринимательства она существует как чиновничество.

Да, одно слово перечисленных выше поэтов друг о друге значило больше, чем тома доцентов. Верно, что отношение Есенина и Хлебникова к Мандельштаму было безобразным, а поведение Маяковского по отношению к своим собратьям уже тогда внушало опасения. Но за вычетом этих пятен на солнце, какое глубочайшее понимание друг друга, щедрость в оценке друг друга, какое аристократическое братство! Во-круг каждого из них было или росло драгоценное кольцо ценителей, и только тоталитарной силой в 30-х годах удалось это кольцо разомкнуть.

Итак, ни один из этих поэтов не жил на государственное или иное безличное жалованье, как теперь живут все поэты в Америке, а все они жили за счет ценителей их поэзии — либо меценатов, либо читателей, которые платили за книгу поэзии раз в сто выше /по отношению к уровню доходов населения/ той цены, по которой книга поэзии продается в Америке сейчас.

В Америке около трех тысяч поэтов и около двух тысяч покупателей книг поэзии /не считая влияния газетных сен-

саций, когда книги поэзии покупаются как сувениры/. Возникает подозрение, что поэты, являющиеся чиновниками на жалованьи, которое в конечном счете берется за счет налогоплательщиков, сами же и покупают поэзию по долгу службы и для увеличения своего жалованья путем писания диссертаций и монографий. Чиновники, называющие себя поэтами, просто обмениваются кипами никому не нужной писанины и получают за этот труд жалованье. Как и во всяком обесценивании, процесс тут цепной. Чиновники на жалованьи производят столько стихотворной писанины, что крупницы поэзии становится все труднее разыскивать в этих горах бумаги, а желающих заниматься розыском все меньше.

Как же произошло это уничтожение поэзии и самой ее возможности появиться? Несмотря на все различие общественного устройства Америки и России после 1917 года оно произошло сходным путем. И в Америке, и в России нашлись достаточно влиятельные лица, уверовавшие, что и там и здесь было так мало поэтов потому, что поэты были зависимы от меценатов и читателей и потому, что культура не была всем доступна. Надо развивать культуру за правительственный счет. Необходимо выделить средства на подготовку поэтов и ценителей поэзии, как выделяются средства на подготовку врачей и медицинских сестер. О Боже, какая насмешка: процесс бюрократизации поэзии зашел в свободной Америке дальше, чем в тоталитарной России.

ГЕНЕРАЛИССИМУСЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Мне казалось, что пресса эмиграции напоминает своей бесчиновностью бесчиновную литературу России 1913 года. Когда я прочел в журнале "Время и мы" повесть "Искупление" Фридриха Горенштейна, я подумал: "Чехов восстал из мертвых". Отрадно, что в среде эмиграции нет "Нью-Йорк Таймса", который бы дал Горенштейну тут же чин генерала от литературы. Чин Горенштейна — писатель. Выше чина в литературе не бывает.

Моя "Энциклопедия Британника" за 1970 год раздала

всем советским писателям чины. Виктор Некрасов /который тогда еще был в России/ получил чин второго прозаика /а Василий Аксенов — четвертого/. Второй прозаик. Чему же это соответствует? Фельдмаршалу литературных войск?

Но писатель Виктор Некрасов оставил все остальные чины Союзу писателей. Как приятно видеть его в журналах эмиграции без чинов, званий, орденов, премий, научных степеней и портретов на каждой странице.

Увы, культурно всесильная и всепроникающая "Нью-Йорк Таймс" так оставить эти бесчиновные островки не могла. Первая часть плаката-дуплекса об Иосифе Бродском, написанная профессором Кларенсом Брауном из Принстонского университета, озаглавлена: "Лучшая русская поэзия, которая пишется в настоящее время".

Я открываю мою "Энциклопедию Британнику" 1970 года и там /лучшие, талантливейшие?/ американские профессора русской литературы заявляют, что лучшую русскую поэзию пишет Евгений Евтушенко. А Бродский?

Бродский! Указанные профессора русской литературы в году 1970-м не упоминают в числе русских поэтов 20-го века Мандельштама или Цветаеву. Они еще о таких не слышали. Какой уж там Бродский!

А что если б эти профессора получили возможность раздавать чины русским поэтам 1913 г.? В 1970 году они еще не признали Мандельштама или Цветаеву. А что бы они натворили в 1913!

Да ведь кто такие были Цветаева и Мандельштам для русской-то профессуры того времени? Никто, разумеется. Даже Городецкий, желая похвалить Мандельштама, сказал "Делано по Брюсову"* , в то время как сам Брюсов /как могли принимать этого стилизатора за поэта?/ отверг стихи Мандельштама, причем с глупой издевкой. Брюсов, кроме того, был еще и неумен.

Культурно всесильная "Нью-Йорк Таймс" дала бы профессорскую статью о Брюсове под большой шапкой: "Лучшая

* "Музыка и архитектура в поэзии". Речь № 162, 17/30 июня 1913 г.

русская поэзия, которая пишется в настоящее время". И стал бы неумный стилизатор генералиссимусом русской поэзии, раздавив русскую поэзию своей казенно-академической тушей.

Русская вольница аристократов духа, где каждый был "нищий бродяга", царь, властитель дум, никто, червь, Бог, стала бы Союзом писателей, Госдепартаментом литературы, военно-чиновничьей пирамидой о ста сорока рангах, от которой бы веяло казенной скукой за версту.

А на вершине пирамиды восседал бы первый поэт Брюсов, лауреат всех премий, генералиссимус поэтических войск России, с портретом в пол-листа на первой странице отдела книги газеты "Нью-Йорк Таймс".

Впрочем не случилось ли нечто подобное в действительности? К 1925 году Маяковский был объявлен "первым поэтом", а посему он обратился в письменной форме к Пушкину в лице памятника последнему, на предмет выяснения, какие были или есть еще поэты, кроме Маяковского и Пушкина. То, что Маяковский к этому времени превратился из поэта в некий скорострельный словесный автомат для выколачивания денег, его ничуть не трогало: генералиссимус поэзии всегда генералиссимус поэзии. Силась вспомнить хотя бы одного поэта, достойного стоять в посмертном списке рядом с ним и Пушкиным, он сокрушенно заметил: "Чересчур страна, мол, поэтами нища".

Впрочем, один достойный из живущих поэтов, наконец, нашелся: "Асеев, Колька. Этот может. Хватка у него моя". А как же Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак и другие? Их нет. Есть Пушкин, Маяковский и Асеев /Колька/.

Пушкина Маяковский, ранее призывавший сбросить с парохода современности, начал поминать отнюдь не случайно. Пушкин жил в так называемую эпоху абсолютизма. Как и Державин, он был "принят при дворе". В своих рецензиях на недавно вышедшую книгу Роберта Масси "Петр Великий"* , я пытался показать, насколько неповторима

и невозсоздаваема эпоха абсолютизма. Сталин не был ни Петром Великим, ни тем более Екатериной Великой, Жуков — Суворовым, а Маяковский советского времени — Пушкиным.

В своей книге о "Нью-Йорк Таймсе" "Королевство и власть" Гэй Тализ, бывший сотрудник этой газеты, а впоследствии содержатель публичных домов, называемых "салонами для массажа", описывает "Нью-Йорк Таймс" как королевский двор эпохи абсолютизма. У "Нью-Йорк Таймса" есть даже сервиз с двуглавым орлом, ее гербом. Но увы, и сам Гэй Тализ — не Карамзин, не Фрэнсис Бэкон и не Жозеф де Местр своего времени, а просто пошляк и обыватель.

ДЖАМБУЛОВЩИНА

В 30, 40 и 50-х годах в России спрашивали: "Позвольте, но в России 1913-го года было хоть с добрый десяток единственных в своем роде поэтов. Да вот, к примеру, тот же Маяковский. А появился ли хоть один такой поэт в 30-х, или 40-х, или 50-х годах?" На это, в частности, следовал ответ, что дело ведь не только в русской культуре: надо развивать культуру других народов. Возмите, например, Джамбула. Ведь это Гомер, пишущий на казахском языке.

Удобство подобного ответа состояло в том, что лишь считанные ценители поэзии в Москве знали казахский язык настолько, чтобы проверить эту оценку. Сомнения могли возникнуть только в некоторых случаях, когда, например, Гомер Казахстана вышел на сцену и начал говорить, а переводчик переводить про жемчуг луны и тень шатра, пока все не заметили, что Джамбул необычайно взволнован, и подоспевший казах объяснил, что Джамбул спрашивает, где уборная, но никто по-казахски не понимает.

В мою задачу не входит разбор того, кто был Джамбул как поэт в действительности. Я просто хочу сказать, что из переводов Рильке Александром Биском я знаю, что либо переведенный поэт был гениален, либо переводчик Биск гениально выдумал на русском языке гениального поэта. А из переводов Джамбула на русский язык никто не может

* В русском варианте см. "Русская мысль", 19 февраля 1981 г.

усмотреть ни того, ни другого.

Точно так же в мою задачу отнюдь не входит доказательство или опровержение того, что Евгений Евтушенко — это Данте России 20-го века. Я лишь отмечаю, что ни из одной строчки переводов поэзии Евтушенко на английский язык усмотреть это невозможно, и я берусь доказать, что никакой разницы в смысле поэтической ценности между переводами Джамбула и Евтушенко нет. Разница, может быть, лишь в том, что переводы Джамбула на русский язык стилизованы: тут есть "восточная форма" и, конечно, рифмы, и прочее. А переводы Евтушенко на английский язык представляют собой просто набор слов: это — писанина, не требующая никакого труда и не ставящая вообще никаких задач, даже чисто технических.

На основании подобной джамбуловщины "Нью-Йорк Таймс" воздала новому Данте почести, которых никогда не удостоивался ею не только ни один поэт ни одной страны мира, но и ни один писатель, мыслитель или ученый.

Зенитом этой славы была встреча Евтушенко с Элиотом: Элиот, якобы последняя поэтическая звезда Западного небосклона, передал свой лавровый венок первого поэта мира Евгению Евтушенко, якобы единственной поэтической звезде Востока.

Замечательно, что все это длилось около десяти лет, а восемь лет спустя эти же самые лица не могут вспомнить имени Евтушенко. И это также показывает как невозможным абсолютизм. "Нью-Йорк Таймс", будучи культурным лже-абсолютизмом, создает лже-славу, некое подражание абсолютизму, нечто вроде игры в него. Ее Данте России длятся еще меньше, чем советские Гомеры Казахстана, ибо последние подпираются государственной лестницей чинов, которой у "Нью-Йорк Таймса" и вовсе нет. Джамбул хотя бы длился, пока длился Сталин. Но Евтушенко исчез потому, что у "Нью-Йорк Таймса" все держится на временном возбуждении — сенсации, вроде фальшивого крика "Пожар!", когда все знают, что никакого пожара нет, а толпа в порыве возбуждения начинает кричать "Пожар!". Затем выясняется,

что никакого пожара и в самом деле нет, и толпа расходится. "Новый Данте!" Чиновники по ведомству поэзии желают показать, что среди них есть Данте. Всеобщее возбуждение. Игра в Данте. Книги поэзии никогда не покупаются, но тут они расхватываются как "сувениры возбуждения", хотя кто же будет читать эту джамбуловщину? Возбуждение, однако, быстро приедается. Тем временем продавцы сувениров хорошо заработали, а чиновники написали диссертации и монографии, получив чины и оклады. Что же еще нужно?

Когда "Нью-Йорк Таймс" назвала Солженицына "экстраординарным гением", я написал шутивное письмо, сообщая, что гении ординарными не бывают. Не напечатали: "Как русские завидуют друг другу!" Когда недавно я прочел открытие Гора Видала, что Солженицын вообще не писатель, я опять написал письмо. А кто же тогда писатель? Гор Видал? Не напечатали: "Как русские нетерпимы к чужому мнению!"

Тут весь вопрос в том, что во время игры в пожар надо вопить со всеми: "Экстраординарный гений!" Не гений, как Толстой, Достоевский или Чехов, а экстраординарный гений. А потом надо столь же дружно бросаться его топтать, хотя обычно он уже настолько никому неинтересен, что и топтать нет ни у кого ни времени, ни охоты. Так разве что иногда пхнуть лениво: "Солженицын вообще не писатель". Без всяких ссылок, примеров, объяснений.

"Лучшая поэзия, которая пишется на русском языке сегодня" — назвал профессор Кларенс Браун свою статью о Бродском. В самом этом названии для меня уже есть нечто пожарно-зазывающее. Ведь не все же поэты России могут высылать свою поэзию для печатания в эмигрантских журналах. В 1970 году американские профессора, писавшие в то время в "Британике", еще не знали имен Мандельштама или Цветаевой. А представьте себе, что сейчас 1913-й год, и для того чтобы напечататься, им надо было бы переправлять свои стихи через тоталитарную границу с риском для себя и всех вовлеченных в это дело.

А потом, к какому бы еще эмигрантскому редактору попали бы стихи Мандельштама и Цветаевой. Что там Ман-

дельштам. или Цветаева. В 20-х годах гениальность Пастернака была вне сомнения даже в советском Политбюро. А "ведущий литературовед эмиграции" профессор Вейдле его даже в конце 20-х годов с грязью смешал: не только, мол, Пастернак не поэт, а он и русского языка не знает в школьном смысле этого выражения.

Значит, Мандельштаму или Цветаевой пришлось бы не просто переправлять стихи через тоталитарную границу, а еще думать о том, к кому они попадут в далеком мире за кордоном.

И в таком же положении находится современный поэт в России, да и, возможно, находился бы Бродский, если бы "судебный процесс" не донес его имени до нескольких американских профессоров. И тем не менее профессор Кларенс Браун, наверно, видит из Принстона все града и веси России, и уж если бы где завелся Мандельштам или Цветаева 1980-х годов, то он бы их сразу на заметку, как Центральное Разведывательное Управление в своих фантазиях тысячеустого барона Мюнхаузена. А поскольку не завелось таких, то существует один Бродский, как в 60-х существовал один Евтушенко /даже генералиссимуса русской прозы Солженицына одно время чуть не забыли: таково было пожарное увлечение генералиссимусом русской поэзии/.

КАК СОЗДАЮТСЯ ДЖАМБУЛЫ

Мне кажется, я могу объяснить, за что мы в 60-х годах ценили Бродского как поэта. Не лучшего, талантливейшего поэта. А поэта. Я сказал этим бесконечно много.

Я привожу на память первое, что мне приходит в голову, конец стихотворения:

**Я вспоминаю эпизод в Тавриде,
Наш обоюдный интерес к природе.
Всегда в ее дикорастущем виде.
И удивляюсь и грущу, мадам.**

Прежде всего, какой остроумный языковой коллаж. Таврида — и рядом "обоюдный интерес к природе". На "правильном" русском языке нельзя сказать "обоюдный интерес

к природе". Это как у Зощенко и других: так называемые обывательские жантилизмы — стремление говорить научно, литературно и, вообще с высшим образованием.

Но еще остроумнее "Всегда в ее дикорастущем виде". Жантилизм из прејскуранта зеленых насаждений. Обыватель не скажет "природа в ее диком состоянии". Да это некультурно. То ли дело, "в ее дикорастущем виде". Обратите внимание: фраза идет отдельно, как бы в скобках, обретая интонацию "культурно мыслящего" бюрократа-педанта — это как бы уточнение в скобках, особое мнение, научное определение ради полноты картины.

И вдруг: "И удивляюсь и грущу, мадам".

У Блока: "Цепенею и сплю и грущу". То есть после языка советского обывателя "дворянско-эллигическое". И в советской жизни 60-х годов все это вполне совместимо — природный языковой шпат, где есть все вкрапления, от "наш обоюдный интерес к природе" до "грущу".

В прозрачных пространствах фонвизинских акварелей всегда бывает одно густое пастозное пятно. Оно все держит. Это пятно — "грущу". Густое слово. Буква "щ" вообще густа. Помните: "щий-щий-чаща-щий" в стихотворении "Когда мы первый раз молчали" Рильке в переводе Биска? "...и свистящий шумящий дождь бежал сквозь чащи, когда из мрака весь дрожащий к нам потянулся Божий мир". Но "грущу" ведь еще и с хрестоматийно знаменитым русским "у" /"Брожу ли я вдоль улиц шумных... многолюдный... безумных..."/. Прощу. Свищу. Отомщу. Грущу.

А "мадам"? У Гейне в переводе Вейнберга /сколько поколений его читали/: "...и прошептать, умирая: "Я вас люблю, мадам".

И все это говорит живой человек "советского барокко", советский Фальстафф 60-х годов: все его знали, как в 20-х годах все знали водопроводчика, решившегося сводить "аристократку" в театр.

Подобно тому как рассказ Зощенко — не "настоящий рассказ", а как бы рассказ водопроводчика 20-х годов, стихотворение Бродского — это не "настоящий мадригал", а как бы мадригал, написанный беспутным сыном совет-

ских "обеспеченных культурных родителей" 60-х годов. Литература — это всегда антилитература, поэзия — это всегда антипоэзия, а рыба летает только, выпрыгивая из воды.

Мой американский знакомый пишет "настоящую" поэзию барокко, и знает он ее, как Благой Пушкина. Но только это скучно. И это не поэзия.

Когда Зощенко решил писать "настоящую" литературу, то не только ничего не вышло, а и непонятно, что должно было выйти.

Но как же перевести это живое, прелестное и остроумное стихотворение Бродского на английский язык?

Вопрос этот раздражает меня. Это все равно как спрашивать: "Но как же играть на рояле, если надо попадать пальцем в несколько клавиш сразу и так быстро?"

Мой ответ: "Если не умеешь, так вообще не играй на рояле".

Вот профессор Клайн, основной переводчик поэзии Бродского, перевел разобранные выше четыре строки*. Перевожу их с английского обратно на русский, отчего переводческое произведение профессора Клайна ничего не теряет, как может убедиться всякий, сравнив мой текст с английским текстом профессора Клайна. Итак:

**Я вспоминаю нашу поездку в Крым,
Когда оба мы любили природу, любили смотреть
На дикий пейзаж — чем свободней, тем прекрасней,
Я поражен, сударыня, и я в горе.**

Это произведение мог написать любой американский школьник сто лет назад, включая его "русский мотив", который в советских школьных сочинениях именуется таким образом: "Вольнолюбивые мотивы в творчестве Лермонтова". "Дикий пейзаж — чем свободней, тем прекрасней". Правда, у Лермонтова Кавказ, а не Крым. Но какая разница? В России всегда кого-то ссылают — то Лермонтова, то Бродского. Надев бурку, Бродский в ссылке смотрит со скалы на дикие Сочи или дикую Ялту /в России все дикое/. Красота

* Joseph Brodsky, Selected Poems, Penguin Books, 1973.

в свободе, а свободы в царско-советской России и нет, отчего мятежные поэты /"А он, мятежный..."/ находят такую красоту в дикости Сочи или Ялты.

Я должен признать, что перевод Джамбула на русский язык звучал все же убедительнее, как версификация.

Русские эмигранты жалуются, что американцы не ценят и не понимают стихов. Простите, но кто же будет эту джамбуловщину покупать? Платить деньги за беспомощное подражание среднего американского школьника сто лет назад Лермонтову?

Так все более замыкается порочный круг. Жалованья американским поэтам оправдываются тем, что, мол, американцы все еще так некультурны, что не желают покупать поэзию даже за бесценок, и поэтов приходится, так сказать, содержать, чтобы они, получая жалованье, несли культуру в массы /язык "Правды" тут уместен/, пока некультурные американцы не станут культурными, начав ценить и покупать поэзию. На что некультурные американцы отвечают, что какого черта они будут тратить время и деньги на бессмысленные словесные упражнения чиновников? Чиновники получают за это жалованье, пособия, премии — им все равно, что писать: их время казенное. Вот и пускай они читают друг друга в служебное время.

ДИВЕРТИСМЕНТ

В некоторых учебниках литературы сказано, что во всякой трагедии должен быть дивертисмент: слезы по поводу Дон Кихота должны перемежаться смехом над Санчо Панса. В этом смысле в обзоре "Нью-Йорк Таймса" имеется готовый дивертисмент. В первой /серьезной, профессорской, казенной/ части обзора не упоминается, разумеется, ни одного ныне живущего поэта, пишущего на русском языке, кроме самого Бродского. Во второй же, развлекательной части упоминается только один русский поэт, кроме самого Бродского, — Эдуард /Эдичка/ Лимонов. Пушкин, Бродский, Лимонов /Эдичка/.

Но почему же Лимонов /Эдичка/? Почему же, например, не Кузминский, один из пяти ленинградских поэтов, включенных вместе с Бродским Сюзанной Масси в ее книгу "Живое зеркало"?

Я запомнил в этом сборнике Сюзанны Масси одно стихотворение Кузминского 60-х годов:

**Я пью перцовую. Мой разум
Мне говорит, что мозг мой празден,
Что я не понят и не признан.
И я молчу.**

Это Крым /как у Бродского/, который Кузминский /как и Бродский/ называет Тавридой, но только ночь и проливной дождь.

**О, Боже, множатся рыдания.
Разверсты хляби. В черном небе
Луны безумное круженье
Меж туч, моление о хлебе
И голубых небес крушенье,
Мой признак, беспокойный с нами,
Ничто не должно приключиться,
Но крест пребудет при ключицах
Бессонницей, Голгофой, снами.**

Вот почему Кузминский никуда не годится для пропаганды-рекламы Бродского: он — поэт, а не Асеев Колька.

От неустроенного, порывистого, ищущего Кузминского можно ждать неожиданностей, включая гениальность, внезапный взрыв, ход в бесконечность. И он не подчиняется субординации. Он может похвалить сгоряча и обругать сплеча "первого поэта", от которого "зависит его будущее".

Ну, а Лимонов, Эдичка? Тут я не помню ни одного слова но, к счастью, некоторое время назад получил в подарок от Марамзина три номера его "Эхо", и там Лимонов Эдичка. Выписываю наугад:

**Дорогой Эдуард! На круги возвращаются люди
На свои на круги. И на кладбища, где имена
Наших предков. К той потной мордве. К той Руси или чуди
Отмечая твой радостный праздник — война!**

**Дорогой Эдуард! С нами грубая сила и храмы
Не одеть нас Европе в костюмчик смешной
И не втиснуть монгольско-славянские рамы
Под пизжамы. И не похоронить под стеной. ***

Свыше ста лет назад, до того как Соловьев пустил в ход образ-выражение "панмонголизм", а Блок затем взял соответствующую строчку эпиграфом к стихотворению "Скифы" /далее Лимонов говорит: "И я весел, как скиф"/, это прославление Лимоновым "монголо-славянского" нашествия было бы стихотворением. Но дело в том, что если бы напечатать в русском журнале сто лет назад самое комически подражательное стихотворение советского графомана, которое ни один московский журнал не примет из-за его подражательности, то такой подражатель-графоман был бы принят в 1880-х гг. за еще не виданного в истории культуры гения, Леонардо да Винчи поэзии, Эйлера-Гаусса-Лобачевского слова.

Как миллионы других подражателей, Лимонов опоздал родиться на сто лет. Впрочем, Лимонов относится к тем из авторов, которым часто лень даже подражать определенному поэту, и они подражают "западной поэзии", или "современной поэзии", или "вообще поэзии". Беру наугад из того же номера журнала "Эхо":

**Как утро прекрасно и мутно
И мне беспокойно уютно
Что я одинокий такой
Что эти печальные страсти
Меня разрывают на части
И бездна свистит за спиной.**

Любой грамотный человек может писать такие стихи непрерывно и без всякого усилия. Скажем:

**Как утро уютно и ясно
И мне известно прекрасно
Что нет печальней меня
Где ж вы, мои страсти-мордасти
Нет в жизни страшнее напасти
И ужас ползет как змея.**

* "Эхо", Париж, № 1, 1980 г., стр.73.

Если бы роман "Эдичка — это я" /или "Это я, Эдичка"?/ был бы напечатан в странах английского языка — ну, хотя бы 30, если не 50 или 100 лет назад, то Лимонов угодил бы за него в тюрьму и стал бы, возможно, по крайней мере, известен, как "подсудимый на громком судебном процессе", жертва, герой, оригинал. Но в настоящее время миллионы американских школьников, домохозяек, пенсионеров и других лиц, имеющих досуг, пишут подобные романы, тщетно надеясь, что если они изобразят все свои физиологические функции "по всей правде", "без всякой утайки" и, употребляя по возможности нецензурные слова, то произойдет, по крайней мере, хоть газетный скандал, а тут уж недалеко и до писательской славы. Часто они и сочиняют, рассказывая, как они вступают в связь с трупами или лошадьми, а Ежи Косинский в своем последнем романе /который мне случилось рецензировать/ придумал даже различные множественные сочетания /например, мужчина, лошадь и две лесбиянки/, но даже Ежи Косинский на своей лошадиной порнографии никуда не доехал. Поздно!

Во многих американских бюрократиях чиновник во главе бюрократической пирамиды выбирает помощника по единственному признаку: тот никогда не сможет занять его место.

Выбрав Лимонова как единственного, кроме него, поэта, пишущего в подлунном мире на русском языке, Бродский застрахован: не может произойти такой неожиданности, чтобы Эдичка вдруг произвел бы нечто свое, талантливое. Лимонов на все сто процентов лишен самостоятельного лица и в то же время надежен, как Асеев /Колька/.

Во второй части обзора свободной русской литературы Лимонову уделено больше места, чем любому другому прочему. Ибо помимо того, что Лимонов — один из единственных двух русских поэтов нашей эпохи, достойных упоминания, он еще и писатель-борец за свободу. Несколько лет назад представители нью-йоркской интеллигенции бежали в общественных местах голыми /"стрикинг"/, но так как никого при этом не задержали, то и это скоро тоже всем прискучило. Увы, в этой сфере на сегодняшний день трудно

стать жертвой тирании в Нью-Йорке. Однако Элин Шон обнаружила именно в этой сфере твердыни реакции, на штурм которых и устремился Гарибальди-Лимонов:

"Ни ИМКА-Пресс в Париже, издающая Солженицына по-русски, ни "Континент" не печатают матерных слов", — говорит Карл Проффер, возглавляющий "Ардис", который в этом отношении проявляет большую терпимость. Не менее консервативно и "Новое русское слово". Александр Сумеркин рассказал в этой связи эпизод, связанный с книгой Эдуарда Лимонова "Это я — Эдичка", герой которой с предельной откровенностью повествует о своих мытарствах среди опустившихся обитателей Манхэттена. "Они даже фамилию его ни разу не упомянули, — рассказывает Сумеркин. — Если и были упоминания, то только об одном скандальном псевдописателе и псевдопоэте".

Какой ужас! Да возможна ли еще подобная тирания в 20 веке? Он — матерные слова, а они не хотят их печатать!

Тут возникает вопрос: "А почему же сама Элин Шон не употребляет в своей статье в "Нью-Йорк Таймсе" нецензурные слова?" Да ведь культурной монополии "Нью-Йорк Таймса" необходимы сотни миллионов долларов в год. А употреби Элин Шон нецензурное слово, и подписчики перестанут подписываться. Как же можно сравнивать "Нью-Йорк Таймс" с изданиями на русском языке? Читатели "Нью-Йорк Таймса" оскорбятся, это ведь дамы и господа, а русские — кто? Нищие, дикари, мразь. Чего ж им-то нецензурных слов не употреблять?

"Создается впечатление, что эмигрантским писателям приходится преодолевать не один языковой барьер; отдельные круги русского литературного истеблишмента не более терпимы в отношении откровенного описания сексуальной тематики и использования предельно откровенного языка, чем советские цензоры."

Дедушка и бабушка Элин Шон не пропускали через границу "Исповедь" Руссо и "Кандида" Вольтера, даже если приехавший на время иностранец соглашался дать подписку, что книга — его личный экземпляр, который будет читать только он сам лично и который он увезет обратно. Всякое противодействие бесчисленным подобным мерам часто имело советским коммунизмом. Теперь их внучка рассматривает нежелание некоторых издателей печатать нецензурные слова как советскую цензуру, при этом забы-

вая, что такая же цензура существует и в ее газете "Нью-Йорк Таймс".

Корреспондент газеты "Нью-Йорк Таймс" считал в 1937 году русских свиньями за то, что они говорят "сукин сын". Выражение "сукин сын" можно было писать в странах английского языка только в виде первой буквы с тире. Незадолго до этого также писалось выражение "Чорт возьми!" Теперь "русские" оказываются у таких же "американских мещан с высшим образованием" свиньями /ретроградами, реакционерами, советскими цензорами/, если они не ругаются, как ломовые извозчики 1913 года в России.

Я шокирую многих американцев, когда я предлагаю разрешить публичные дома, как они были разрешены в 1913 году в России. Ибо есть женщины, желающие быть порядочными, а есть женщины, желающие быть проститутками, не говоря о бесконечных разновидностях человеческих отношений, которые под силу было уловить и выразить разве что Чехову. Так всегда было и, видимо, будет. Нужна терпимость. А не воинственная прямолинейность Элин Шон.

Дедушка и бабушка Элин Шон требовали с таким же правдоподобным пылом, чтобы незамужняя женщина, уличенная во внебрачной связи, носила бы знак, означавший, что она проститутка, преступница, изгой, подобно тому, как в средневековые заставляли евреев или прокаженных носить знак их отверженности. До сих пор в Нью-Йорке не отменены законы, карающие супружескую измену тюрьмой и запрещающие фильм об Анне Карениной, если последняя не будет представлена в качестве омерзительной злодейки.

Элин Шон проявляет столь же воинственную нетерпимость, направленную в обратную сторону. И вряд ли ей удастся заставить всех печатать и читать "нецензурные" /но увы, бездарные/ романы миллионов Лимоновых, как ее дедушке и бабушке не удалось искоренить проституцию. Воинственная и вместе с тем лицемерная нетерпимость под лозунгами терпимости, прогресса или свободы искусства приведет лишь к столь же воинственной реакции. Не будучи в состоянии защититься от миллионов Лимоновых гражданскими

средствами, те, кто не желает вторжения их физиологии в свою жизнь, будут защищаться от нее ломанами и прикладами, а этого мне хотелось бы, возможно, даже меньше, чем им самим.

ЭПИЗОД В НЬЮ-ЙОРКЕ

За месяца два до выхода в свет агитпропреклямы "Нью-Йорк Таймса" мне позвонил писательский активист /вроде как в Москве был Бобович/: Бродский предлагает собраться и создать русскую группу при Пен-клубе.

Зачем я пошел? С детства, когда я был с родителями в Доме творчества, и я помню приезд Пастернака, у меня осталась тоска по общению с русскими писателями — Дом творчества в 1934 году был все еще пиршеством если уже не ума, то уж, во всяком случае, еще остроумия.

Я думал: в этом Пен-клубе я увижусь также и с поляками, а польская культура — это тоже моя слабость. Будет и Бродский, и я все же желал думать о нем, как о поэте, списывая все остальное, как капризы или шалости не от мира сего.

Бродский не явился. Я сразу понял: проводится нечто вроде советских мероприятий, дабы показать иностранцам самостоятельность нашего народа. В данном случае иностранкой была Элин Шон, автор второй половины плаката-обзора. Для нее мероприятие и было устроено. Дабы Элин Шон могла написать, что Иосиф Бродский — "один из инициаторов" /здоровый бюрократический язык/ "создания специальной русской группы при американском отделении международного Пен-клуба".

Чтобы написать один абзац второй части агитпропреклямы в "Нью-Йорк Таймс" — положить, так сказать, один кирпичик в памятник рукотворный, не более долговечный, чем газетная бумага, пришлось собрать нас всех, статистов истории, народ, мелюзгу на несколько часов, соответствующих по духовному содержанию заседанию в красном уголке домоуправления, посвященному встрече октябрьских праздников.

Я сидел рядом с некой молодой дамой. Молодых дам можно разделить на два вида: те, которые интересуются мужчинами, и те, которые мужчинами не интересуются, а интересуются, например, только успехом мужчин. Так или иначе, молодая дама смотрела мимо меня, как будто я был выброшенный на свалку холодильник.

Эта молодая дама и была Элин Шон, автор историй о проститутках, сутенерах и прочих, призванная помочь воздвижению агитпроп-памятника Бродскому. И я вспомнил строчку то ли перевода Бродским английского поэта, то ли его стихотворения в духе английской метафизической поэзии: *Смерть — это мы сами.*

**МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕРЕСУЕТСЯ**

русскими рукописями на следующие темы:

1. Социально-философская и историческая мысль России.
2. Запад глазами новоприбывших из СССР.
3. Религия. Демократия. Национализм.
4. Споры вокруг развития культуры в СССР.
6. Советские методы исторической и литературной фальсификации.

Писать: John Blake Literary Agency 6040 Bruhl.
Posttack 1663 West Germany

НОВАЯ КНИГА

АНАТОЛИЯ ЛЕВИТИНА-КРАСНОВА

В поисках Нового Града

ВОСПОМИНАНИЯ. 3-Я ЧАСТЬ.

Эта третья книга — предпоследняя из задуманной серии воспоминаний известного церковного писателя А. Левитна, в которой задался целью проследить, по возможности объективно, истинное положение Православной церкви в годы советской власти. В основе всех трех книг личный богатый опыт автора. «В поисках нового града» — о состоянии Церкви с 1956 по конец 60-х годов. Здесь А. Левитин знакомит нас с патриархами Алексием и Пименом, митрополитами Николаем, Нестором, Мануилом, Никодимом, с личными друзьями из религиозных кругов — протоиереем А. Менем, о. Дм. Дудко, о. Г. Якуниным, о. С. Желудковым, а также с В. Шавровым, Л. Регельсоном, Е. Барбановым. В книге помещены богословская полемика С. С. Желудковым, анализ творчества Б. Пастернака, документы религиозного самиздата. Очень много сообщений о неизвестных до сего времени фактах.

Израиль 1980 410 стр. ДМ 25.—

Кроме того, на складе книги того же автора:

Лихие годы. 1925-1941. Воспоминания. Часть 1-я. О церковном расколе 20-30-х гг., движение обновленчества, характеристики церковных деятелей. Франция 1977 466 стр. ДМ 30.—

Рук твоих жар. 1941-1956. Воспоминания. Часть 2-я. Картины русской жизни в одну из самых трагических эпох. Война, диаконство у Введенского, послевоенный арест, лагерь и хрущевская реабилитация. Израиль 1979 477 стр. ДМ 27.—

Левитин А. и Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. 3 тома в одной книге. Фундаментальный труд об обновленческом расколе церкви при советской власти. В основе множество ценных документов и свидетельских показаний. В сопровождении фотографий видных церковных деятелей. Швейцария 1978. 1053 стр. ДМ 50.—

Пересылка за счет заказчика

Требуйте бесплатно наш большой каталог 1979/80
и бюллетени №№ 12 и 13.



A. Neimanis - Buchvertrieb

8 München 40 — Bauer Str. 28
GERMANY Tel. 37-05-34



АМРАМ

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ИЗРАИЛЬ

Трудно говорить о советской политике на Ближнем Востоке, игнорируя роль Организации Освобождения Палестины.

С одной стороны, ООП рассматривается советским руководством как одна из радикальных организаций национально-освободительного движения, которые служат Советскому Союзу для ослабления Запада. С другой стороны, нельзя не отметить особый характер отношения СССР к Ближневосточному конфликту, связанный с чисто еврейским фактором. Он вызывает у Советского Союза резкую эмоциональную реакцию, как правило, не принимающую во внимание логику и здравый смысл.

Иными словами, поддержка, оказываемая Советским Союзом ООП, преследует обе цели. Во-первых, подрыв свободы и демократии во всем мире путем усиления международного террора и, во-вторых, использование ООП для уничтожения Израиля.

Вторая цель должна быть рассмотрена особенно тщательно, поскольку подавляющее большинство израильских КОМ-

ментаторов отрицают намерение Советского Союза уничтожить Израиль. Другие, соглашаясь с тем, что Советский Союз к этому стремится, утверждают, что это неосуществимо, ибо израильская армия сильнее советской*.

Послушаем, однако, что рассказывает бывший израильский коммунист Соломон Цирюльников: "Еще в дни войны /1948 г./ в Тель-Авив прибыла советская миссия во главе с Ершовым. Сразу же по ее прибытии, я встретился у себя дома с первым секретарем посольства Рожковым. Он рассказывал мне, как поспешно была сформирована их миссия и как ночью их наставлял министр иностранных дел Молотов: "Вы должны твердо помнить, — говорил он, — что евреи — мировая нация, имеющая широкие связи в разных странах мира, поэтому надо с ними быть всегда начеку!" В словах Рожкова и в том, как он это говорил, чувствовался едва ли не мистический ужас перед скрытой мировой силой еврейства. Это была просто какая-то Достоевщина, я пытался этот его ужас рассеять, но совсем не уверен, что мне это удалось"***.

Всякая ненависть есть следствие страха. Тонкое наблюдение Соломона Цирюльникова о настроениях советских дипломатов относительно Израиля в 1948 году во многом объясняет и цели советской ближневосточной политики в наши дни. Эти цели за последние двадцать лет с предельной ясностью изложены в советских публикациях об Израиле, сионизме и евреях. В самом Израиле ранее они рассматривались как антиизраильские и антиссионистские. Сейчас их зачастую характеризуют и как антисемитские. Но никогда и никто в Израиле не считал, что правительство СССР ставит своей целью подготовку советского общественного мнения к предстоящему уничтожению сионистского государства. Между тем, сегодня невозможно даже привести перечень подобного рода антиизраильской литературы: "Фашизм под голубой звездой" Е. Евсеева, "Осторожно, сионизм" Ю. Иванова, "Агрессия Израиля и международное право" И. Блищен-

*Мих. Агурский, серия статей в газете "Наша страна", июль, 1976.

***"Времямы", № 42

ко, "Сионизм: теория и практика", "Антикоммунизм и антисоветизм — профессия сионистов", "Сионизм — орудие империалистической реакции", "Цели и методы воинствующего сионизма" В. Большакова и многие другие. Основная идея этих публикаций — изображение евреев, сионизма и Израиля в виде страшной, вземной силы, сошедшей на Землю для уничтожения СССР, коммунизма и всего человечества. А поскольку единственной серьезной силой, угрожавшей существованию Советского государства, была гитлеровская агрессия, то основная пружина антисемитской пропаганды в СССР — это сравнение сионистов с нацистами, причем, не в пользу первых. Сионисты гораздо сильнее и опаснее. Именно сионисты поддержали Гитлера и привели его к власти для того, чтобы уничтожить Советский Союз и русский народ. Такого рода утверждения, естественно, находят отклик среди населения, сохранившего тяжкую историческую память о германском нашествии.

Так журнал "Азия и Африка сегодня" /№ 2 1979 г./ пишет о книге "Сионизм — правда и вымысел", вышедшей в издательстве "Прогресс" в 1978 году: "Материалы доказывают сотрудничество сионистов с нацистами в период Второй мировой войны. В частности, автор показывает, что нацисты старались использовать сионистских лидеров для воздействия на правительство США /где влияние сионистов было сильным/ с тем, чтобы обеспечить нейтралитет Соединенных Штатов во время войны... Сионистская организация "Маккаби ха-каир" содействовала депортации в концлагеря так называемых ассимилированных евреев... Расистская терминология и государственная практика руководства Израиля в отношении неевреев на его территории во многом схожи с практикой нацистов... Израиль постоянно нарушает любые договоры, соглашения, права человека..."

Антисемитская вакханалия в Советском Союзе направлена не только против Израиля, который изображается инкарнацией дьявола, но и против евреев во всем мире, против советских евреев и против еврейской религии, истории, традиций.

В сборнике "Идеология и практика международного сионизма" /издание Института философии Академии наук СССР/ подчеркивается, что евреи всегда требовали для себя особых прав по сравнению с правами других народов с тем, чтобы эти народы эксплуатировать; иудаизм ставит своей целью господствовать над миром, над низшими существами, которыми являются "гой"; антисемитизм — это "одно из проявлений классовой борьбы в эксплуататорском обществе на его капиталистической стадии", сионисты организовывали убийства "граждан разных стран" в период нацистской оккупации. На стр. 194 указывается, что единственной правовой основой существования Израиля является резолюция ООН. Но за время своего существования, дозволенного ООН, Израиль совершил столько тяжких преступлений против народов всего мира, что эта зыбкая правовая основа давно исчезла. Цифра сионистского капитала в США — 1,5 триллиона \$!/ долларов — это больше валового национального продукта США. Сионизм обвиняется в организации всех контрреволюционных выступлений в России до 1917 года, в последующей борьбе против Советской власти, в изменении внутриполитической обстановки в Венгрии в 1956 г., в Польше и Чехословакии в 1968 году. В книге не содержится обвинений в адрес сионизма только в связи со стихийными бедствиями: землетрясениями, наводнениями, однако последующие газетные публикации восполнили этот пробел: "Медицинская газета" за 23 марта 1979 года обвиняет Израиль в намерении отравить все человечество путем заражения вод Красного моря радиоактивными отходами. Заметка корреспондента АПН В. Парузина заканчивается так: "Израильские капсулы с радиоактивными отходами на дне Красного моря — это бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и принести неисчислимы бедствия человечеству".

Военные успехи Израиля вызывали в Советском Союзе поистине мистический ужас и истерические публикации в советских газетах не в состоянии этот ужас скрыть. В связи с операцией "Энтеббе" "Правда" писала: "Совет Безопасно-

сти ООН обсуждал на минувшей неделе беспрецедентный случай — разбойничье вооруженное нападение Израиля на территорию суверенного государства Уганда. Взяв в качестве предлога "освобождение" заложников, захваченных террористами в самолете компании "Эр Франс", израильские агрессоры высадили десант на аэродроме в Энтеббе и устроили кровавую бойню, разгромили аэропорт, подожгли несколько угандийских самолетов, расстреливали угандийских граждан. Эта гангстерская акция осуждена участниками сессии ОАЭ, всей прогрессивной общественностью... Никакие словесные махинации, предпринимаемые сторонниками реакционных и сионистских сил, не спасут агрессора от осуждения народов. Посеявшие ветер агрессии и смерти пожнут бурю ненависти" /18 июня 1976 г./.

Не исключено, что в дремучем воображении авторов подобных комментариев возникают видения израильского десанта в Малаховке, вывозящего советских евреев в Израиль. Следует отметить, что если в шестидесятые годы антисемитские публикации были иногда умеренными, то в семидесятые годы антиизраильская и антиеврейская направленность прессы далеко превзошла нацистскую пропаганду. В статье Льва Корнеева "Террор — оружие сионизма" оправдывается массовое убийство на Приморском шоссе 11 марта 1978 г. /"Рейд палестинских партизан, осуществленный на свою родину"/. Приведем несколько выдержек из этой статьи, которую можно назвать типичной для советской печати последних месяцев.

"...психологический и политический террор, массовые убийства и геноцид — давняя практика сионистских захватчиков Палестины. Именно так — оккупантами — называет израильтян сионистский автор А. Иегошуа. И не без оснований: евреи, захватившие часть Палестины в XII веке до н. э., впоследствии почти полностью — в основном добровольно — покинули эту страну еще в раннем средневековье, расселились в ста странах мира... Палестинское движение сопротивления, возникшее после образования Израиля, поставило задачей борьбу за возвращение захваченных арабских зе-

мель... Государство Израиль было создано тридцать лет назад по воле Организации Объединенных Наций. В ту пору сионисты, спекулируя на муках нескольких миллионов евреев, погибших во время войны, рядились с ризы "спасителей еврейства". В те годы мир еще не знал, что еврейские миллиардеры — в числе тех, кто вскормил гитлеровское чудовище, что сионистские главари были пособниками нацистов и соучастниками их преступлений. Но нет тайн, которые можно скрыть... Израиль стал постоянным источником опасности миру на Ближнем Востоке да и во всем мире" /"Неделя" № 29.1977 г./.

В последнее время усилилась существовавшая и раньше в советской пропаганде тенденция не только отрицать, что евреи были жертвами нацизма, но и выставлять их в виде прямых соучастников и организаторов массовых убийств советских людей. /Роман Ивана Шевцова "Набат", картина Михаила Савицкого "Летний театр", выставленная в Минске и на которой изображен еврей-заключенный, участвующий в убийстве мирных граждан неопределенной национальности. При этом сионистская сущность еврея никак не определена./ "Русская мысль" в статье "Глумление над жертвами геноцида" /26 июля 1979 г./ рассказывает об этой картине и о новом романе писателя антисемита Валентина Пикуля, в котором автор пишет о сионистском заговоре с целью уничтожения России до 1917 года. Автор статьи в "Русской мысли" очень точно определил, что "советский официальный антисемитизм принимает все более фантастические и устрашающие размеры".

К сожалению, израильские газеты избегают подобных определений. Тот же Валентин Пикуль ранее опубликовал исторический роман "Битва железных канцлеров", где поражение России в Крымской войне в значительной степени объясняется еврейской ненавистью к России: министр иностранных дел Николая I Карл Нессельроде — еврей /!/ совместно с премьер-министром Англии Дизраэли, тоже евреем, борются против России, противостоит им русский патриот князь Горчаков. В другом романе Валентина Пикуля "Богат-

ство", вышедшем стотысячным тиражом /"Битва железных канцлеров" — тираж 400 000 экз./, евреи, пользуясь поражением России в русско-японской войне, пытаются отторгнуть от России и передать Америке Камчатку. Противостоит им русский патриот губернатор Камчатки Соломин, у которого "юркий" адвокат Иоселевич отнимает любимую женщину, что, впрочем, не останавливает Соломина в борьбе за принятие разного рода запретительных законов.

"Русская мысль" очень серьезно оценивает антисемитскую направленность советской печати. Обозреватель "Русской мысли" пишет: "...информированный читатель в состоянии обнаружить нацистские истоки новейшей советской антисемитской пропаганды. Различие лишь в том, что Гитлер, Геббельс и Штрейхер говорили о "коварной роли всемирного еврейства", в то время как Советы указывают на "всемирную еврейскую буржуазию", представляющую опасность для миролюбивых народов. Не подлежит сомнению, что нынешняя неприкрыто антисемитская массовая кампания советской печати была санкционирована на самом высоком уровне — Открытый антисемитизм — страшный предвестник грядущих событий в СССР" /"Русская мысль" 19 окт. 1978 г./.

Интересно отметить, что беспрецедентная антисемитская кампания в СССР очень мало отразилась на положении советских евреев; новые иммигранты, как правило, не жалуются на бытовой антисемитизм, который служил бы для них побудительным стимулом для выезда. Хотя в значительной степени антисемитская пропаганда и обращена "внутрь", основное ее острие направлено против "мирового еврейства" и Израиля, подчинивших себе все страны Свободного мира.

А как выглядит ближневосточный аспект антисемитской кампании в СССР? "Полная" и "безоговорочная" поддержка СССР "справедливого дела арабских народов", как правило, обгоняет стремления самих арабских народов, многие из которых уже давно ищут подлинного мирного урегулирования и понимают нереальность требований об уничтожении Израиля. Известно, что все попытки умеренных арабских стран изыскать пути такого урегулирования после войны

1973 года вызвали исключительно яростную реакцию Советского Союза. Стремление Советского Союза использовать свою армию в войне против Израиля в 1967 и 1973 гг. было пресечено американцами, однако угрозы прямого военного вмешательства Советского Союза в конфликт на Ближнем Востоке содержались почти в каждом заявлении Советского правительства или в Заявлениях ТАСС. Неудивительно, что многие арабские страны отказались от сомнительных советских услуг относительно уничтожения Израиля, понимая, что это уничтожение слишком дорого им обойдется, ибо ответный удар Израиля придется по арабским землям. В результате Советский Союз оказался в странном положении почти что единственного выразителя "коренных" интересов арабских народов, в то время как сами арабские народы как будто оставили фронт.

В "Международном обозрении" "Правды" от 25 марта 1979 года сказано следующее: "Понятно, что Советский Союз не может быть равнодушным наблюдателем за событиями, затрагивающими район в непосредственной близости от наших границ. Ничто не в силах поколебать его решимость добиваться установления прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке, что отвечает подлинным интересам арабских и других народов". Цитата более чем ясная. Выражения "близость границ", "справедливый мир", "ничто не поколеблет", "подлинные" интересы, которые, видимо, арабские страны недопонимают, и отсутствие упоминания о народе Израиля при включении в ближневосточный контекст неких "других" народов, которые никак не дождутся "справедливого" урегулирования, говорит о решимости Советского Союза продолжать курс на уничтожение Израиля независимо от арабско-израильского урегулирования.

Итак, Советский Союз отнюдь не обескуражен намечающимся израильско-арабским урегулированием и преисполнен решимости "взять на себя" защиту коренных интересов арабских народов даже и в том случае, если арабы откажутся от курса на уничтожение Израиля. К сожалению, среди израильского истеблишмента распространено убеждение, что

Советский Союз требует лишь вывода израильских войск к границам 1967 г., а после этого он якобы готов признать Израиль и установить с ним дипломатические отношения.

Естественно, Организация Освобождения Палестины является одним из факторов, содействующих Советскому Союзу в осуществлении его планов уничтожения Израиля. Фактически это единственное, что объединяет ООП и СССР.

Как известно, эта организация была создана в 1964 году, но лишь в последнее время она заняла руководящее место в ближневосточной стратегии СССР. Объясняется это тем, что ООП осталась почти единственной, хотя и сомнительной силой на Ближнем Востоке, настаивающей на уничтожении Израиля. Ее лидер Ясер Арафат принимается в СССР с почестями, каких не удостоивается ни один глава государства: его встречают на аэродроме лично Л. Брежнев, в его честь устраивают парады, его награждают высшими советскими орденами и даже "Ленинской премией за укрепление мира между народами". Террористический характер ООП и абсолютная аморальность Я. Арафата, многими своими заявлениями напоминающего Гитлера, служат дополнительным стимулом для сближения обеих сторон. Аморальная и античеловечная сущность коммунистического режима заставляет его искать близких по духу партнеров.

Советская печать в своей апологетике ООП, как правило, очень мало места уделяет позитивным сторонам деятельности этой организации, связанным с необходимостью после "освобождения Палестины" строить там какой-либо тип общества; все публикации об организации Ясера Арафата сосредоточены исключительно на ее "справедливой" борьбе с Израилем.

Впервые делегация Арафата посетила Москву в феврале 1970 года — только через шесть лет после образования ООП. Корреспондент "Нового времени" А. Степанов в статье "Палестинцы в трудный час" /№ 41, 6 окт. 1978 г./ пишет: "ООП была единодушно признана единственным законным представителем палестинского народа..."

Эта организация пользуется признанием 112 государств. Это больше числа стран, признавших Израиль". О проблеме

беженцев советская печать пишет, что только безусловное возвращение всех беженцев на места их проживания до 1948 г. может послужить основой для урегулирования конфликта.

Заметим, что публикуемые в советской печати материалы, написанные самими палестинцами, будь то члены ООП или Общеарабского народного конгресса, или руководители компартий арабских стран и Израиля, выдержаны в гораздо более умеренном тоне, чем советские публикации. Поистине воспроизвести тон советской печати могут лишь люди, родившиеся и получившие воспитание в обстановке всеобщей ненависти, свойственной только советскому варианту коммунизма. Кроме того, руководители палестинцев медленнее, чем другие арабские народы, но все же начинают понимать, что абсолютная политическая и военная поддержка, которую им оказывает Советский Союз, не дает им никаких гарантий на пути достижения их территориальных целей, а лишь ужесточает позицию Израиля, который не боится никаких военных конфликтов и готов сразиться один на один даже с Советским Союзом. В то же время давление Соединенных Штатов оказывает существенное влияние на позицию Израиля. Поэтому, палестинские руководители, не уставая благодарить Советский Союз, тем не менее делают осторожные реверансы в сторону США. Установлению отношений между США и ООП в настоящее время мешает лишь непризнание Организацией Освобождения Палестины Израиля и резолюции Совета Безопасности № 242. Террористический характер ООП, видимо, совершенно не мешает нормальным отношениям этой организации с государствами, признающими право Израиля на существование.

В заключение следует сказать, что в израильском общественном мнении роль ООП преувеличена настолько, насколько преуменьшена роль Советского Союза, являющегося единственным подлинным, серьезным и бескомпромиссным врагом Израиля. Причины ненависти Советского Союза к Израилю совершенно не связаны с арабо-израильским конфликтом и объясняются традиционным русским антисемитизмом.

Подробное рассмотрение причин государственного русского антисемитизма выходит за рамки данной статьи. К сожалению, осознание опасности русского антисемитизма для советских евреев не сопровождается в израильском общественном мнении пониманием опасности для Израиля советской политики на Ближнем Востоке, поэтому внешняя политика Израиля и разрабатывается без учета этой опасности.

ОТ РЕДАКЦИИ

Статья г-на Амрама во многом представляется нам интересной, яркой, острой, компетентной. Однако в конце статьи автор, на наш взгляд, лишает себя возможности дать глубокое обобщение, уходящее корнями в историю и важное для современности. Сложнейший политико-исторический процесс сведен к "традиционному антисемитизму русских". Между тем, он сам замечает мимоходом /и это подтверждается рассказами новоэмигрантов и письмами/, что бытовой антисемитизм в России не увеличился, несмотря на лавинообразную антисемитскую пропаганду сверху. По некоторым свидетельствам, он даже уменьшился, ибо евреи выброшены из всех правительственных, партийных и гэбевских инстанций, их почти уже нет в торговле, они эмигрируют, возбуждая любопытство и зависть, а положение внутри страны все хуже и хуже. Так что лучше не делать поспешных выводов о таких неопределенных вещах, как традиционные свойства народов, чем делать вывод, на наш взгляд, поверхностный, заслоняющий опаснейшую подоплеку явлений.

Приведем лишь некоторые из наших возражений автору.

Антисемитизм в Российской империи до 1917 года крайне редко и преимущественно не в самой собственно России достигал масштабов, сравнимых с гонениями не евреев в средневековой Европе. При этом в дооктябрьском XX веке права и возможности евреев в российском мире неуклонно /при наличии ряда жестких эксцессов и рецидивов, как, впрочем, и по отношению ко всем гражданским правам/ выравнивались с правами других народов. Ложу прессы в Государственной Думе называли "чертой оседлости". Имеется много данных и материалов о борьбе за равноправие евреев не только со стороны евреев, но и со стороны русской общественности, и эта борьба как в правовом, так и в бытовом плане шла весьма успешно.

К тому же вспомним, что дореволюционный антисемитизм прекращался в каждом конкретном случае после крещения еврея, что указывало на его религиозную /а не биологическую!/ этиологию.

Однако тоталитарная диктатура не может оправдывать свой экономически импотентный режим без существования "врага внутреннего"

и "врага внешнего". Уже уничтожены буржуазия, независимая интеллигенция, свободное крестьянство, побеждена нацистская Германия. Решительно необходим новый объект, от которого диктатура стала бы защищать ценою великих жертв /нищета, милитарно-репрессивный режим, закрытость общества, контроль над информацией и т. д. и т. п./ своих граждан. Счастливым соединением в одном лице врага внутреннего и врага внешнего /"мировой сионизм"/ явились евреи.

Характерно, что знаменитая евсекция при ЦК боролась против сохранения евреями своей самобытности, культуры, религии, традиций, привычных занятий и образа жизни куда яростнее, чем любое из царских правительств 1860—1910-х годов, которые ограничивали именно ассимиляцию евреев и их вывод из черты оседлости, возможности образования и пр.

Первоначальная поддержка Израиля Сталиным имела целью создать здесь социалистическое /коммунистическое/ государство-сателлит — трамплин для завоевания всего региона. Но так не получилось. И теперь евреи /"сионисты"/ предназначены быть громоотводом для народного недовольства внутри страны и стать возможным поводом для какой-то из очередных советских экспансий и агрессий. А прежняя ставка /создание сателлита — трамплина для завоевания богатого нефтью Ближнего Востока/ перенесена на ООП.

Коммунизм не изменит своей глобальной тактики даже после "окончательного решения еврейского вопроса", если бы таковое было в его интересах. Нам представляется, что Кремлю выгодно не "окончательное решение", а постоянная внутренняя и внешняя эксплуатация этого вопроса. Если же Запад поверит, что Кремль руководствуется в своих действиях не задачами своей планетарной экспансии, а мистической ненавистью к евреям, то он, Запад, на всякий случай, попытается бросить Кремлю эту "кость", как бросил в свое время Гитлеру, как готов бросить за арабскую нефть. Разумеется, Запад и здесь проигрывает, если поступит подобным образом, ибо стимул Кремля не антисемитизм в качестве некоего, пусть порочного, но искреннего /как у Гитлера/ мировоззрения. Для Кремля антисемитизм и антисионизм — политические инструменты среди многих других политических инструментов глобальной экспансии и умирения собственного народа.

Дора ШТУРМАН



Наталья ГРОСС

ФИГУРА ЗА КОВРОМ

О книге Кирилла Хенкина а "Охотник вверх ногами"

Час совсем непоздний, едва стемнело, но, когда в комнату, в пыльных парижских "нумерах" стучат, я вздрагиваю и, растерянно поглядывая на дверь, задумываюсь: открывать — не открывать?

Стук в дверь застает меня за чтением книги; действие неоднократно, на круги своя, возвращается в Париж, в пыльные "нумера" — здесь разыгрывается почти неправдоподобно криминальный детектив:

...способ борьбы с идейными противниками за границей. Жертву оглуша, клали в ванну с соляной кислотой. Через какое-то время все спускалось в канализацию. Никаких улик. Клеветники, которые вздумали бы утверждать, что Москва занимается политическими убийствами, были бы посрамлены. /К. Хенкин "Охотник вверх ногами"*/

На пороге — шапочные эмигрантские знакомцы, люди запутанных судеб и странных биографий. В сумерках визитеры кажутся привидениями.

Важным достоинством литературы мне представляется то мистическое свойство, которое, как бы стирая грань между книгой и действительностью, вписывает жизнь в построение книги. Факты и события становятся тогда неким вторым сюжетом, продолжением книги, ее эпилогом. Это качество в высшей степени присуще книге Кирилла Хенкина. Его книга "Охотник вверх ногами": о Рудольфе Абеле и Вилли Фишере удивительным образом отличается от унылых, узко ведомственных опусов мемуарного жанра, расплывшихся в эмиграции и написанных с оглядкой на тематические картотеки советологов.

Публицистика Хенкина — не серия заурядных документальных свидетельств, хотя есть в ней черты документального очерка, и не мемуары, хотя здесь отдается дань воспоминаниям прошлого, а историко-аналитический детектив.

Пресытившись снобистской бессюжетной прозой, совершенно неожиданно находишь в книге Хенкина необычайно увлекательное чтение, когда читаешь, как в детстве, захлеб, не переводя дыхания, с замиранием сердца заглядывая в конец: "А что же дальше?"

В книге два — на мой взгляд — захватывающих сюжета. Один сюжет, в основу которого положена канва шпионского романа, опираясь на уникальный личный опыт /дружбу со "шпионом века"/, материалы, логические рассуждения и интуицию, в конечном итоге выдвигает любопытную гипотетическую версию "дела Абеля":

...в Соединенных Штатах мой друг либо занимался ерундой, либо вообще не делал ничего... возможно, с самого начала, а возможно, лишь ко времени ареста.

Детективная история Абеля в книге Хенкина более всего напоминает по структуре серию американских телевизионных фильмов о настойчивом и дотошном сыщике Коломбо. Здесь увлекает не разрешение дилеммы детектива — кто же на самом деле совершил преступление и кому надлежит понести кару по заслугам. Напротив, изначально преступник известен — так известно в книге Хенкина, что его старый

* Издательство "Посев", Франкфурт 1980.

друг Вилли Фишер был легендарным шпионом Абелем. Увлекательная, гипнотизирующая сторона этого детектива — в анализе событий, сопоставлении фактов, в логических рассуждениях, приводящих к полному переосмыслению всей детективной драмы и соответственно роли ее участников. Согласно концепции Хенкина, "шпион века", бывший в определенном смысле фикцией, служил средством дезинформации Запада.

Вторая сюжетная линия детектива, смыкающаяся с первой, касается построения версий, умозаключений и гипотез относительно криминального характера современной советской истории /преимущественно во внешнеполитическом аспекте/. Советская разведка и контрразведка, шпионаж, феномены легальной и нелегальной эмиграции и прочие явления так называемой советской экспансии на Запад рассмотрены в книге Хенкина в том же ключе аналитического детектива. Агенты и двойные агенты, убийства и фальсификация убийств, шпионаж и игра в шпионаж — в этих бесконечных сплетениях обмана и достоверности предстает в книге криминальная история советского "общения" с Западом.

Взаимодействие этих двух детективных сюжетов приобретает характер изощренного парадокса. Шпион века оказывается "туфтовым" театральным героем, его история — пародией на дешевый шпионский роман, а, напротив, на первый взгляд заурядные события являют собой страшный детектив, с убийствами и жертвами, где, казалось бы, искренние и добропорядочные люди играют роли подлинных агентов, осведомителей, шпионов и наемных убийц. И в обоих детективах присутствует закулисный персонаж, призрачная фигура, определяющая скрытый смысл загадочных и зловещих событий. "Охотник вверх ногами" Хенкина, притаившийся на картине среди безмятежного пейзажа — аналог спрятавшемуся за ковер "агенту" Полонию в шекспировской трагедии.

В замечательном предисловии к книге Кирилла Хенкина Александр Зиновьев научно объясняет роль загадочной "фигуры за ковром" — охотника вверх ногами — эффектом

системности: "...Действия человека как элемента системы суть нечто качественно иное, чем действия человека самого по себе".

Запутанный детектив советской истории построен по общей модели системы со стереотипными ситуациями. Эти ситуации /как, например, пронизанность первой русской эмиграции советской агентурой/ должны повториться в ином контексте с поправкой на этот новый контекст. Прошлое, настоящее, наконец, прогнозируемое будущее, в картине с перевернутым вверх ногами охотником составляет однородную субстанцию. Отдельные по времени и значимости события сплетены в единую ткань повествования. Подчиненные одной логической схеме, факты социальной и политической истории в достаточной степени статичны и не подвержены существенным изменениям, ибо неизменны центральная установка и замысел системы. В ее пределах только сам герой, проходя по однообразной плоской лестнице жизни, оказывается незаметно вовлеченным в процесс собственной эволюции — идей, политических взглядов, мировоззрения.

В каком-то смысле авторское "я" в книге — двойник героя: биография легендарного "шпиона века" на определенном отрезке жизни пересекается и переплетается с автобиографией автора. Оба, автор и герой, оказываются неординарными личностями и, следовательно, негодными для уготовленной им роли в системе. По свидетельству книги, герой, ставший "липовым" шпионом века, очевидно, потому, что никогда для классической карьеры шпиона не был предназначен, к концу жизни фактически порывает с системой. Автор формально порвал с системой в самом начале, еще в юности отказавшись от карьеры советского шпиона. Однако герой, советский шпион, окончательно с системой все же не порывает /возможно, просто не успевает, осуществить это ему помешала смерть/. Автор же окончательно и бесповоротно отрекается от своей роли в системе во время чехословацких событий 1968 года, принимая решение об эмиграции:

У меня не было ни малейшего представления, как мы выберемся из Советского Союза. Но отъезд стал жизненной необходимостью. Оставаться означало быть соучастником... Быть им я больше не хотел. Перелом в сознании шпиона Абея, каким рисует его Кирилл Хенкин в книге, — не только эволюция в мировоззрении незаурядной личности, но и характерная биография советского интеллигента старшего поколения. В юности — потомственный правоправный коммунист, в 37-м году — советский функционер, ожидающий ареста, в зрелые годы — советский резидент в Нью-Йорке и, наконец, на старости лет — неприметный пенсионер, тайком читающий самиздат... Не опровергает ли эволюция Абея центральную идею книги Кирилла Хенкина о жестокости и беспощадности советской системы и о ее разрушительном, смертоносном действии на личность? — Пожалуй, что нет. Ведь общая структура жизни человека в системе всегда остается неизменной.

Эволюция Абея на склоне лет, личные чувства симпатии и любви к нему, некоторая попытка реабилитировать его в глазах читателя — эти элементы сюжета следует отнести за счет присутствующей в книге дополнительной линии повествования. Человеческий, гуманистический план сопутствует здесь детективу и криминальному характеру советской истории, и справедливость требует признать, что книга Кирилла Хенкина не ограничивается описанием "эффекта системности". Этот сугубо личный, человеческий аспект представляется мне бесспорным достоинством прежде всего потому, что он придает концепциям и гипотезам характер искренней, эмоциональной достоверности, не менее ценной, чем сухие интеллектуальные выкладки и построения.

В книге Кирилла Хенкина немало страниц ироничной, теплой прозы о нелепейшем архитектурном сооружении — непослушном сортире в доме "шпиона века", о его хвором псе Бишке-эпилептике, о добродушной мохнатой собаке Мине. И, наконец, страницы, исполненные прустовской грусти об утраченном и невозвратимом, о невозможности возвращения в мир, откуда однажды ушел.

Акценты и оценки книги, написанной человеком, выросшим и воспитанным на Западе, вне "системы" — этические

и эстетические нормы мира, где действительны разграничения между добром и злом, где порядочность, деловитость, собранность, любовь к комфорту и красоте почитаются добродетелями. Массированная советская экспансия на Запад, по мнению Хенкина, пошатнула и нравственные устои западного общества. С пришествием "грядущего хама" здесь мало-помалу устанавливаются нормативы советского поведения и быта. Запустение дома юности в Париже символизирует крах старого доброго мира: торжество нечистоплотности, вульгарности и распушенности является как бы внешним проявлением советизации Запада. С пессимизмом и чувством утраченных иллюзий Кирилл Хенкин подмечает удручающие признаки "конвергенции" миров. В этой связи он намечает в общих чертах сенсационную гипотезу о природе "третьей" эмиграции, которой будет посвящена его следующая книга: массовый выезд из Советского Союза был инспирирован советской системой для собственных стратегических и тактических нужд в момент подготовки военного столкновения с Западом.

Гипотезы Хенкина о характере советской экспансии на Запад, вероятно, вызовут самые разноречивые мнения как у читателей книги, так и в среде профессиональных критиков, политиков, социологов и советологов. Сам автор предвидит в книге это ставшее уже банальным обвинение в "шпиономании". И здесь мне кажется уместным обратиться к знакомой всем со школьной скамьи трагедии Шекспира "Гамлет".

Как известно, в датском королевстве, Гамлет объявлен сумасшедшим, зараженным манией преследования, ибо ему, якобы в бреду галлюцинации чудятся осведомители, согладатаи и палачи. Его убеждают в том, что на самом деле за ковром шуршат крысы. Однако, "фигурой за ковром" оказывается Полоний, отец возлюбленной. Так принц Гамлет становится крысоловом, убийцей отца возлюбленной, изгоем и эмигрантом.

Современная советская действительность соотносится с драматическими ситуациями шекспировской трагедии. Когда в период оттепели в Советском Союзе экранизировали "Гам-

лета", советский зритель увидел в преступлениях и терроре датского королевства аллегория истории советского государства; в Полонии — стукача, а в Гамлете, в исполнении Смоктуновского, — советского диссидента. Эпизод — изгнание диссидента из страны — стал актуальным только впоследствии.

Одной из "фигур за ковром" в книге Кирилла Хенкина оказывается жена, следящая за мужем по заданию КГБ. Кирилл Хенкин, обладающий блистательным аналитическим даром, выступает в данном случае в роли Гамлета-крысолова, обнаруживающего тайный замысел событий советской истории.

Вилли научил меня смотреть на реальность так, чтобы выявлялась скрытая сторона вещей. И оказалось, что однажды научившись схватывать суть загадочной картинки, уже не можешь не замечать среди ветвей и оленьих рогов не очень хитро скрытого охотника.

Я не намерена предложить возможным оппонентам Кирилла Хенкина следовать постулату шпиона Абея. Аллегория шекспировской "фигуры за ковром" кажется мне более понятной и знакомой для человека западной культуры и менталитета. Возможно, в этих терминах свидетельства недавних советских эмигрантов приобрели бы несколько иное звучание, потребовали бы серьезных оценок и выводов и, как можно предположить, помогли бы предотвратить те трагические последствия советского проникновения на Запад, которые предвидит Кирилл Хенкин в своей книге, ибо крушение демократической западной цивилизации будет столь же унижительным и ужасным, как гибель разумной власти и человеческого достоинства в трагедиях Шекспира.



ЭРМИТАЖ

ЭРМИТАЖ - New Russian Books Publishing
2269 Shadowood, Ann Arbor MI 48104, USA. Tel (313) 971-2968

В 1981 ГОДУ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ:

- | | |
|--|-------------------|
| Сергей АВЕРИНЦЕВ. РЕЛИГИЯ И ЛИТЕРАТУРА | 7.00 |
| Сборник статей ведущего представителя современной московской философской школы. | |
| Василий АКСЕНОВ, АРИСТОФАНИАНА С ЛЯГУШКАМИ | 11.00 |
| Полное собрание пьес. | (В тв. об. 20.00) |
| Диана ВИНЬКОВЕЦКАЯ, ИЛЮШИНЫ РАЗГОВОРЫ | 6.50 |
| Психологические эссе, описывающие преломление в детском сознании самых сложных проблем - политики, морали, смерти, религии, секса. | |
| Георгий ВЛАДИМОВ, ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ | 9.00 |
| Самое крупное из опубликованных до сих пор (в 1969) произведений автора "Верного Руслана". | |
| Игорь ЕФИМОВ, МЕТАПОЛИТИКА | 7.00 |
| (Под псевдонимом А. Московит) | (В тв. об. 14.00) |
| Разработка философской систематизации мировой истории. | |
| Руфь ЗЕРНОВА, ЖЕНСКИЕ РАССКАЗЫ | 7.50 |
| Первый прозаический сборник известной ленинградской писательницы, выпускаемый ею после выезда за границу. | |
| Леонид РЖЕВСКИЙ. БУНТ ПОДСОЛНЕЧНИКА | 8.50 |
| Новый роман, посвященный встрече второй и третьей волны русской эмиграции в Америке. | |
| Илья СУСЛОВ, РАССКАЗЫ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ И ДРУГИХ ТОВАРИЩАХ | 7.50 |
| Сборник рассказов популярного журналиста, "сменившего" редакцию "Литературной газеты" на редакцию журнала "Америка". | |
| Николай УЛЬЯНОВ, СКРИПТЫ | 7.00 |
| Сборник исторических статей, посвященных судьбам России. | |

При отправке заказа просьба добавлять 1.00 доллар на пересылку (независимо от количества заказываемых книг).

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



Томас ШУМАН

ЗАПИСКИ НЕОКОЛОНИЗАТОРА

Я ЗАГРАНКАДР

Мне все еще не верится, что я уже в Индии! Вот уже второй месяц пробуждаюсь я в своей маленькой холостяцкой комнатухе в "совет бангало", в красивом и тихом пригороде Бароды. Еще не продравши глаза, я вдыхаю экзотические запахи чужбины: аромат тропических цветов, смешанный с дымом кизяка, на котором слуги во дворе кипятят свой утренний чай, терпкий запах благовоний из храма через дорогу. Потом приходят звуки. Старик брахман позванивает колокольцем на ступенях храма и бормочет санскритские молитвы, убажывая с утра пораньше священную обезьяну Ханумана. Разносчики молока и фруктов негромко переругиваются на базарном урду. Гомонят птицы. Где-то хнычет ребенок.

Я открываю глаза и, как обычно, вижу на потолке зеленоглазую ящерицу. Она подкарауливает комаров, насосавшихся моей крови за ночь. Велорикша проехал мимо и ловко, на полном ходу, забросил через решетку моего окна свернутые в трубку утренние индийские газеты. Все это неопро-

вержимо доказывает, что я в Индии! "Вырвался таки!" произносит в моем немарксистском сознании политически незрелый голос.

...Меня с детства тянуло в далекие экзотические страны, особенно восточные. То ли сказалась эвакуация в Казахстан во время войны, то ли не давала мне покоя кровь моих далеких татаро-монгольских предков Безменовых, то ли рассказы Радьярда Киплинга. Как и многие мои сверстники, я мог часами рассматривать атлас мира или подшивки журнала "Вокруг света" и мечтать.

И вот что удивительно: как и многие мои сверстники, я уже лет в пять чутко улавливал своей еще неиспорченной душой, что мечтать о далеких странах — не п а т р и о т и ч н о ! За рубеж ездили дипломаты, краснознаменные ансамбли и "доблестные чекисты". Нам ничего не оставалось другого, как мечтать. Не вслух, предпочтительно.

Позднее, при Хрущеве, разрешили не только мечтать вслух, но и ездить "туда" и "обратно", в интересах светлого будущего всего человечества. Для этого требовалось оформление. Еще в средней школе подмосковного города Мытищи я смекнул, что для исполнения моей мечты мне предстоит долго и умело делать вид, что мне вовсе не нужен берег турецкий и Африка мне не нужна. Ах, как я замечательно притворялся!

Вопреки воле моего отца, полковника Генштаба Советской Армии, я пошел не по фамильной линии, а в Институт Восточных Языков при МГУ, на отделение Индии. Помимо овладения языками дружественной уже в то время Индии, мне пришлось пройти через все прелести советской молодости: общественная работа, дружина, целина, агитбригада. Это еще что! А "спецподготовка", то есть подготовка к военной штабной или шпионской работе!? А сдача дюжины экзаменов и зачетов по истории КПСС? А сборы справок, характеристик и заполнение бесконечных анкет с приложением невероятного числа фотокарточек! А увиливание от распределительной комиссии, которая непременно старалась запихнуть каждого выпускника в сторону, прямо противво-

положную его желанию, в какую-нибудь Кушку, на станцию подслушивания погранвойск КГБ!

Впрочем, зачем вспоминать? Вот он я — загранкадр! Ради исполнения голубой мечты детства я прорвался через пространство, время и колючую проволоку священных границ моей Родины. Я переводчик при советских специалистах на строительстве нефtezавода в Индии. Я колесик и винтик взаимопонимания между народами. Я вношу свой, пусть малый, но важный вклад в дело мира и социализма. Мне не все понятно еще в этом "деле". Но мне часто хочется верить в то, что "там" /наверху/ знают, что делают, и что со временем все утрясется. Мне недавно стукнуло 23 года, я в отличной спортивной форме, полон энергии и предчувствий великих свершений...

Я проворно вскакиваю с кровати, обозначаю утреннюю зарядку, бегу в наш коллективный душ и только под струей холодной воды вспоминаю, что сегодня выходной день. Мой первый новогодний праздник за пределами Родины. Жалко. Так хотелось по утреннему холодку проехать на джипе. И даже, может быть, с разрешения или по недосмотру начальства подрулить самому на площадку, милях в восьми от Бароды, возле деревушки со странным названием Кояли.

Завода, как такового, еще нет. Рабочие, согнанные из окрестных деревень, копают пока что огромный котлован под фундамент ТЭЦ, насыпают горы грунта под резервуары для нефти, тащут рельсы подъездных путей. Кажется невероятным, что кто-нибудь может разобраться в этом хаосе. Сегодня площадки не будет. Сегодня, по всей вероятности, весь наш коллектив будет опохмеляться и доедать вчерашний новогодний ужин.

Ну и отлично. Начну-ка я писать свой дневник! Я уже давно порывался писать, да все как-то лень. А кругом столько всего происходит! Иногда я исписывал две-три странички, прочитывал и рвал в клочки. Опасное это занятие, если писать все, как думаешь. И куда потом прятать написанное? Комнаты наши толком не запираются. Да и кому писать? Себе?

Но сегодня я решил: буду писать в карманной записной книжке кодом из арабских букв и русских слов. Тайно-писью. Как Ленин в тюрьме писал молоком на промокашке, Ленинским путем, товарищ!

1 ЯНВАРЯ 1964 ГОДА. КРУГЛАЯ ДАТА

Вот с нее и начну дневник. Спустя час, пока я заполняю мелким бисером вторую страничку, на верхнем этаже, в нашем общественном туалете, низвергается вода. Коллектив начинает подавать признаки жизни. Доносится песня варяжского гостя. Это брется ленинградец Арнольд Арсеньев, высокий красавец в усах. Он обожает классику, но у него нет слуха. Арсеньев — наш парторг или, как мы называем для конспирации, чтобы идеологический враг не догадался о нашей партийности — "председатель профсоюза".

Снизу, со двора, доносится оживленная торговля. Это жены двух бакинских нефтянников, Мамедова и Гасанова, начинают шумно обсуждать цены на овощи и мясо с торговцем-разносчиком, прибывшим с большой корзиной на голове, полной всякой снеди. Не окончив никаких "инязов", две бакински успешно находят общие слова в тюркских и индостанских языках. Полное взаимопонимание между народами!

К девяти часам выглядывает яркое оранжевое солнце, и сразу пропадает утренняя прохлада. На коммунальной кухне /не можем мы без нее, родимой, даже в капстране!/ загремели посудой. Запахло свежим салатом, фруктами и вчерашним пловом. А еще через четверть часа, как я и ожидал, раздался зычный голос парторга: "Холостяки! Завтрак!" "Холостяки" — это я. Почему-то во множественном числе.

Стол накрываем на верхней открытой веранде, уже залитой горячим утренним солнцем. Кто-то уже водрузил непитую вчера бутылку виски и воткнул в горлышко ветку кипариса — вместо новогодней елки. Я приношу 60-ти градусную водку из моих московских запасов. Надеюсь, моя жертва будет оценена. Ведь Гуджерат — сухой штат. Тут

спиртное по карточкам и не больше литра в месяц.

У ленинградцев увлажняется взор. А бакинцы прикрывают рюмки жен ладонями. Им крепкого не положено.

НАШ ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Итак, о нашем здоровом коллективе. Ленинградец Борис Малышев, молодой, флегматичный и аккуратный инженер-проектировщик в очках с толстенькими стеклами. Он уже бывал за рубежом и многое знает, но помалкивает. Дмитрий Иванович Тарасенков — пожилой педантичный человек, с бритой под Юла Бринера лысиной. Дмитрий Иванович любит все уточнять до такой степени, что пропадает вся прелесть разговора. Но зато он никогда не несет чепухи, как наш обаятельный Арсеньев. Все трое из ленинградского филиала "Гипронефтезавода". У всех троих жены с образованием.

У бакинцев жены без образования, но моложе и приятнее. Тугодум Мамедов — парень лет тридцати, атлетического вида, гордый потомок исламских мудрецов. Благороден, как средневековый рыцарь, и скупой, как Шейлок. Мамедов — простой техник, но брат у него в бакинском КГБ. Поэтому Мамедова оформили инженером-технологом и послали в Индию зарабатывать на "Волгу" в экспортном исполнении.

Гасанов — лукавый, мягкий, со сталинскими усами. Любит декламировать Омара Хайяма. Жена Гасанова — восточная красавица, которую он старается по возможности реже показывать общественности. Еще есть Роза Ковалева, грустная разведенная женщина с большими губами и уставшими глазами.

Несмотря на пестрый национальный состав и разные житейские привычки, мы неплохо уживаемся в доме, рассчитанном, по индийским стандартам, на одну семью. Да мы, пожалуй, и есть одна семья. Дружная семья советских людей, привыкших стоять в очереди в уборную по утрам и плевать друг другу в кастрюлю на коммунальной кухне.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Сегодня у всех нас немного побаливает голова после вчерашней встречи Нового года. А встречали мы его дважды — один раз в офисе с индийскими коллегами, а потом у себя, за общим столом, по-нашему, под звуки кремлевских курантов, пойманных нашим коллективным радиоприемником.

Первый тост наш коллектив выпивает за Родину, куда, как мы не устаем говорить друг другу, каждый скорее желает вернуться. После второй стопки коллектив начинает обсуждать дела на стройке. Мне скучно, но я сижу в ожидании, что нальют еще по одной.

Заметив у меня в кармане свернутую газету, Арсеньев спрашивает, что нынче пишет буржуазная пресса. Я доволен, что на меня обратили внимание. Читаю заголовки. "Сорок два шахтера убиты при обвале шахты в Западной Бенгалии". /Нет заботы о людях, не то что у нас, — качает головой Мамедов/. "Новые ассигнования правительства Неру на муниципальное жилищное строительство в Дели". /Тарасенков одобрительно кивает. Он в Ленинграде уже четвертый год в очереди на отдельную квартиру/. "Тамилнад против языка хинди. Самосожжение студента". /Несознательность какая! — возмущается парторг, — не хотят своего национального языка!/ "Напряженность на индо-пакистанской границе", — продолжаю я. Все делают серьезные лица. Еще большая серьезность после заголовка "Расследование обстоятельств убийства Кеннеди. Белый Дом отрицает причастность советского КГБ..."

По тому, как прячут глаза мои земляки, я угадываю, что никто из нас твердо не уверен, что КГБ действительно "непричастен". Американское ФБР и Белый Дом могут отрицать все, что им угодно, продемонстрировать отпечатки пальцев, пули и окровавленный пиджак Кеннеди. Но мы-то чуем, что, кроме нас, никому не нужна была смерть президента, выгнавшего нас с ракетами с Кубы и пославшего нашего Никиту на ... на Венских переговорах.

"А вот и про нас", — спешу я обрадовать загрустивший от неприятных воспоминаний коллектив. Парторг разливает еще по одной. "Переводи!"

"Советский Союз экспортирует в Индию..." — начинаю я бодро и тут же осекаюсь, ибо в заголовке ясно написано — "бесхозяйственность", или по-английски "мисменеджмент".

"Что экспортируют?" — подгоняет меня дотошный Тарасенков.

"Бесхозяйственность", — говорю я обалдело.

"Да нууу?!" — тянет театральным басом Арсеньев.

"Вот, пожалуйста, читайте сами" — обижаюсь я на всякий случай.

Газета идет по рукам и возвращается ко мне для подробного перевода. Какой-то неблагодарный индийский экономист пишет, что СССР дарит Индии двух "белых слонов" — два нефтеперегонных завода, технология которых устарела еще до окончания монтажных работ.

Советская сторона, продолжает экономист, проявляет изумительную небрежность, опаздывая с поставками нужных стройке материалов и оборудования. Более того, советская сторона командирует своих консультантов и предоставляет техническую документацию не в той последовательности, в какой они требуются по графикам строительства. Так, например, пишет индеец, завод в Кояли уже должен монтироваться, а на деле, не завершены даже земляные работы и нет подъездных путей. Пока десятка два тяжелых томов этой документации пылятся на полках госкомитета по нефти и газу в Дели, шесть советских проектировщиков и один переводчик бесцельно созерцают строительную площадку в Бароде...

Когда я заканчиваю перевод, все погружаются в неловкое молчание. Всем явно хотелось бы, чтобы статья эта никогда не попадалась нам на глаза.

"А, может, это пр-а-ва-ка-ция ЦРУ! — высказывается наконец Мамедов. — Нада далажит пасолству!" Никто не возражает. Разливаем остатки спиртного, вяло пьем и расходимся по своим комнатам прятаться от жары. Праздничное настроение испорчено.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК ХВОРОСТИНА

Между прочим, в Индию меня оформляли как персонального переводчика при главном инженере другой стройки, в другом конце Индии. В Москве, в отделе кадров Министерства Тяжелого Машиностроения, на Садовой, меня представили плотному пожилому мужчине с голубыми водянистыми глазами, как у Мусоргского на знаменитом портрете. Звали его Николай Васильевич Хворостин. Он уже три года строил нефтезавод в Барауне, штат Бихар.

Я был польщен тем, что меня назначили "персональным". Да и Хворостин, казалось, был доволен. Он объяснил мне, что за все время на стройке ему ни разу не прислали порядочного переводчика. То какие-то разведенные девы-истерички. То мальчики-карьеристы, рвущиеся наверх по трупам коллег, — но никто, по словам начальника, не мог по-настоящему переводить его на английский. Я про себя посочувствовал бывшим переводчикам Хворостина. Переводить его было трудно. Мысли его расползались в разные стороны, как майские жуки, выпущенные из спичечной коробки.

Я решил блеснуть перед будущим боссом. Я дал ему "Правду" и попросил читать, не очень быстро, любую статью. Я успевал переводить каждую фразу раньше, чем Хворостин читал последнее слово. Я, конечно, не объяснил Хворостину, что переводить "Правду" так же просто, как для ребенка переключать кубики из одной кучки в другую. За шесть лет учебы в ИВЯ при МГУ я пожизненно усвоил все две-три сотни советских газетных штампов на всех трех изученных мною иностранных языках. Если мы говорим о труде советских людей, то он — "доблестный". Тот же труд на Западе — "подневольный". Наш народ непременно "великий". А народ, скажем, Вьетнама, тот уже "многострадальный", но "миролюбивый". Наша помощь развивающимся странам — "бескорыстная и братская". Помощь США — "связанная с политическими выгодами". И вообще, она не столько помощь, сколько "эксплуатация сырьевых придатков" и "расширение рынков сбыта".

Хворостин был потрясен моим умением. Он проникся ко мне таким доверием, что в первый же день поведал мне "секреты двора", в частности, что его заместитель, инженер по ТЭЦ Тимофеев, подсаживает его. Пока Хворостин отдыхал в отпуске в Союзе, его зам. устроил в Индии переворот, избрав в партбюро всех своих друзей.

Я заверил Хворостина, что никогда в жизни не занимался интригами. "Ничего, — заключил Хворостин веско, — работаем, если не будешь лезть поперед батько в пекло!" В тот же вечер он поднажал на кадры, чтобы мне оформили визу и билет на один с ним рейс.

В ЦК меня долго нашпиговывали инструкциями и напутствиями, намекали на возможность карьеры "в области идеологической работы". Кудрявый розовощекий референт Илларионов загадочно улыбался, перечисляя мои достижения в работе с иностранными делегациями, "подшитые" в моем выездном деле. Потом дал ознакомиться с "подпиской" и крепко пожал руку.

Улетал я с болезненным чувством раздвоенности: "бежать или нет?". Проходя паспортный контроль и минуя гебешников с суконными физиономиями и автоматами Калашникова за плечами, я старался сохранять олимпийское спокойствие — мало ли, вдруг заметят, заподозрят и... вернут! А в голове все крутилось: "Не, не вернусь! Пропади ты пропадом, родина спутников и коммуналок! Прощай, Глаша! Пусть дворником, но на свободе..."

Над Гималаями меня прихватила традиционная русская тоска. Когда в первых лучах солнца, под крылом Ильюшина, показались голубые и розовые вершины, как на полотнах Рериха, — вечные и безразличные, мне вдруг стало мучительно стыдно за свои мысли. "Все-таки Родина. Уж какая ни есть — а моя! Зачем же я о ней так злобно?" Я прошел мимо спящих пассажиров в туалет и принял внутрь полфляжки албанского рома. Стало легче на душе. "Потерпи, — сказал я себе в зеркало, — может все пойдет к лучшему. Оттепель... За границу выпускают. Вот я — лечу же!? Глядишь, сделаю себе карьеру, вернусь с накопленной валютой, женюсь на Глаше..."

Нет, тогда, пожалуй, я женюсь не на Глаше, а найду себе выездную чувиху из номенклатурной семьи... Купим дачу на 57-м километре по Ярославской... Выпишем "Волгу" в экспортном исполнении... Может быть, даже съездим в порядочную страну... США или Японию... Нет, все должно, просто ДОЛЖНО пойти к лучшему. Зачем ему, спрашивается, идти к худшему? Какой прок от этого ЦК КПСС, Пентагону или кому-то другому из сильных мира сего?

В делийском аэропорту "Палам" я сошел с трапа легкой и смутно радостный, предвкушая новизну. В моем скромном портфеле — словари и запас "родимой" из Елисеевского. Моя гитара, как автомат Калашникова, за плечом на ремешке. Индийские таможенники улыбались мне. Индия верила, что я друг, что я прилетел с добрыми намерениями. А я, подонок, ввозил контрабандой, за пазухой, камень идеологической диверсии...

"МАРИНА" И "КАНАТНАЯ ПЛОЩАДЬ"

Я вспоминаю, когда мы с моим шефом Хворостиным приземлились в Дели в ноябре прошлого года, нас из аэропорта "Палам" повезли в посольской машине в гостиницу "Марина". С самого начала эпохи "хинди — руси бхай-бхай" эта гостиница была превращена в перевалочный пункт для сотен и тысяч советских консультантов, едущих на объекты и с объектов. "Марина" — средняя по индийским стандартам гостиница, расположена в торговом квартале "Конат Плейс", переименованном нами в "Канатную площадь". Квартал этот спланирован в виде двух концентрических кольцевых улиц и разрезан, как пицца, радиальными переулками на равные блоки. В центре — большая открытая лужайка.

По установленной традиции, советские посланцы перед отъездом на Родину несколько дней ходят по концентрическим кругам "Канатной площади" и прибарахлят на остатках накопленной валюты. При этом, опять же по традиции, они шумно выражают презрение к индийской обуви, шерстяным кофтам, кожаным пальто и шубам из выдры и леопарда. Но

за годы дружбы индийцы уже раскусили советского покупателя, прознали о дрянном качестве советских товаров и взвинтили цены на ширпотреб раз в пять.

Набив сундуки барахлом, наши неокolonизаторы, еле живые от жары и пережитых на свободном рынке волнений, отходят в "Марине", глуша индийский джин и заливая его пивом "Голден Игл". Обслуга гостиницы уже к нам привыкла и особенно не угождает. Знают, что от советских бакшиша не дождешься.

В первый день в "Марине" меня приняли за западного туриста. Заказанный джин прибыл ко мне на серебрянном подносе, со льдом и ломтиком лимона. Слуга был в белых перчатках. Узнав, что я русский, он стал приносить джин без перчаток и безо льда. А когда я заговорил с ним на урду, он стал приносить джин бутылками, по-братски, и каждый раз ждал, что я ему отолью в стакан его "чаевые". Вот так мы и осоветили "Марину".

ИНСТРУКТАЖ ВОЛКОВА

Я не сразу акклиматизировался в нашей советской действительности в Индии. Мне все казалось, что я в "чужой" стране, и, как иностранец, должен с уважением относиться к ее хозяевам. Помятуя лекции в ИВЯ при МГУ, я избегал применять грубые и фамильярные формы обращения на хинди и даже в разговоре с таксистами и официантами употреблял вежливое "ап" — "вы".

И так продолжалось до тех пор, пока меня не вызвали на "инструктаж" в офис, который в то время находился в районе Сундар-Нагар. Встретил меня крепко сложенный молодой мужчина с тяжелым взглядом и квадратной челюстью. Он был безукоризненно одет по последней моде — в тонкий дакроновый костюм и белоснежную нейлоновую сорочку. От модной короткой прически до изящных туфель с квадратными носами, он был воплощением того образа западного супермена из голливудских фильмов, который так скрупулезно копируют московские фарцовщики. Супер-

мен снял темные очки и представился Волковым. Усадив меня в плетеное кресло, на лужайке позади офиса, он минут тридцать внушал мне, что мы, советские люди, носители новой, более высокой культуры и создатели самой передовой цивилизации. Запад, во главе с США, капитулирует. Их колониальная система обречена, и дни ее сочтены. Перед индийцами, сказал он, расшаркиваться не следует. Хорошего обращения они все равно не понимают, им нужна плетка, к которой они привыкли за 200 лет британского раджа...

Это было что-то новое. Я робко намекнул Волкову, что в МГУ меня учили уважать индийскую культуру, а в ЦК нашпиговывали лозунгами о братстве и сотрудничестве. На это Волков, снисходительно ухмыльнувшись, заявил, что в МГУ и ЦК безусловно правы... в общих чертах, но что нам в повседневной работе в Индии придется руководствоваться более практическими, давно испытанными принципами. Людям, с которыми мне предстоит работать, до "сотрудничества" еще расти лет пятьдесят. Большинство индийцев на стройках взяточники, карьеристы и саботажники, перекочевавшие в государственный сектор из корыстных побуждений. Судьбы социализма для них — пустой звук, они с таким же успехом могли бы продаться Америке или Японии, если к власти в Индии вместо Неру пришла бы прозападная клика.

Главное, сказал Волков, всегда помнить, что вы прежде всего советский человек и ваш первейший долг работать для Родины. Видя на моем лице выражение беззаветной преданности, хорошо отработанное за шесть лет учебы в МГУ, Волков расслабился, понизил голос и перешел, как я понял, к главной части инструктажа.

— Вы должны понять, Юрий Александрович, что по сути дела мы находимся в состоянии войны. Мы — на фронте, на передовой — сказал он доверительно и как бы с досадой — "приходится-де и нам, миролюбивым людям, воевать..."

— Против Индии? — спросил я, придуриваясь.

— Н-е-е-е! — скривился он презрительно, — Индия у нас в кулаке. И он сжал свой волосатый, крепкий и чисто вымы-

тый кулак, выглядывающий из белоснежного манжета и изящного золотого браслета часов фирмы "Омега".

— Необъявленная война, — произнес он задушевно, как будто объясняясь в любви, — идет против Запада во главе с США. Вам это должно быть известно по учебе в ИВЯ, по работе в АПН...

— Да уж, еще бы! — подумал я, но торжественно промолчал.

Как я и ожидал, товарищ Волков кончил тем, что увязал наше "состояние войны" с США с моим "долгом перед Родиной" и навязал мне самое мерзейшее задание: культивировать "дружественно-настроенных и трезвомыслящих" индийцев на предмет их мобилизации в ряды "прогрессивных друзей". Для этого в обход инструкций ЦК КПСС и данной мной "подписки" мне предоставлялась относительно большая свобода. Я имел право завязывать дружеские связи с индийцами /"Но не переходить рамки приличий" — погрозил пальцем Волков /. Я мог ходить к ним в гости без обычного сопровождения няньки из КГБ. Мне любезно разрешилось выписывать индийские газеты и иногда читать западные, чтобы быть в курсе дела. В заключение мне позволялась значительная свобода передвижения в районе строительства, с уведомлением непосредственного начальства, конечно.

Волков обещал, что вся необходимая пропагандистская литература — журнал "Совет Лэнд" и брошюры, издающиеся АПН, будут присылаться на мой адрес из информационного отдела посольства СССР в Дели.

— Нам известно, — сказал Волков, — что вы отлично зарекомендовали себя на работе с делегациями иностранных гостей в СССР. Вот вам и карты в руки. Совершенствуйтесь.

Затем Волков обвинил меня, что я еду в Бароду, а не в Бихар, ибо Хворостину уже не нужен персональный переводчик. Хворостина заменяют его замом Тимофеевым и отсылают домой месяцев через шесть, после сдачи дел новому начальству. Чтобы позолотить пилюлю, в честь Хворостина сегодня устраивают прием в посольстве, где надлежит присутствовать и мне.

ПРИЕМ В СОВЕТСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

Закончив инструктаж, Волков усадил меня в свою черную "Волгу" и повез в посольство.

Советское посольство невозможно спутать ни с каким другим. В какой бы стране нас ни терпели, мы строим себе тюрьмообразное, мрачное здание непременно какого-нибудь отвратительного серо-бурого цвета, обнесенное сплошным каменным забором с тяжелыми тюремными воротами, с уродливой будкой часового, с колючей проволокой или битым стеклом по верху забора. В фойе сидит злая дебелая секретарша, а около нее непременно крутятся какие-то два придурка со стальными глазами.

Прием в Дели ничем не отличался от других приемов, на которых мне приходилось бывать в дружественных и не вполне дружественных посольствах в Москве. Ходят, как пристукнутые, по залу или по газону, со стаканами виски в руке, обмениваются банальностями, напиваются. Хворостин приехал уже под градусом, с женой. Ширинка брюк у него была застегнута не до конца, из нее торчал уголок сорочки. Заплетающимся языком он сообщил мне печальную новость: нас разлучают. Часам к семи появились индийцы из Госкомитета по нефти и газу. Хворостин поймал за пуговицу какого-то чина и, с моей помощью, долго допытывался, уважает ли он его, Хворостина. Я понимал, что лишение "персонального" переводчика — было уже выше его сил. Это, по его словам, было "неблагородно, ниже пояса!"

После речи советника и вручения Хворостину "Почетной грамоты" он промычал несколько слов благодарности. Потом он поймал за рукав официанта-индийца, пролетавшего мимо с подносом, решительно слил три стопки виски в один фужер и деловито надрался минут за десять. Жена увела его спать.

Я покрутился еще среди гостей, выслушал еще несколько ценных указаний Волкова. Следуя примеру начальства, я выпил несколько тройных порций виски, приказав официанту приносить их мне в невинном большом стакане и безо

льда. Вполне довольный собой, стараясь не дышать на торчащих у входа кагебешников, я вышел к стоянке такси перед посольством. Шофер-сикх, ничего не спрашивая, рванул к "Марине" длинным окольным путем, мимо реки Джамны, что было, в общем кстати — для проветривания мозгов. Вероятно, делийские таксисты уже насмотрелись на нашего брата. Московский таксист, между нами, сделал бы тоже самое. Но, если следовать советам Волкова, индийскому нужна была "плетка". Любопытно, в каком чине Волков?

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Проснулся я, как помню, от громкого стука в дверь и долго не мог сообразить, где я. Справа — дверь в ванную комнату с белыми кафельными стенами. Бачок высоко над старомодным унитазом и ручка для спуска воды, как дома, в Мытищах — на цепочке. Больница? Окошко почему-то у самого потолка. Тюрьма? Нет, не тюрьма: слева от роскошной двухспальной кровати, на которой я покоюсь, небольшой столик. Зажженная лампа под изящным абажуром. Под ней — раскрытая книга. Смотрю обложку: Библия.

Громоподобный стук в дверь повторяется. Геройски преодолевая земное притяжение, я встаю, открываю дверь и вижу на пороге знакомого молодого слугу, в белоснежном одеянии, с подносом, на котором угадывается что-то съедобное под накрахмаленной салфеткой. — Чай тарам, сахиб! — возвещает слуга. На чистом хинди я объясняю ему, что русские люди в шесть утра чаю не пьют. В лучшем случае — опохмеляются. Но он наливает мне полную чашку крепкого чая и ставит на столик у кровати. Ошарашенный этим наглым сервисом, я выпиваю чай и валюсь обратно в постель.

Через час — явление второе. Тот же стук в дверь. Тот же слуга вливает в меня вторую чашку чая. Мое советское воспитание и уважение к необычному обслуживанию /в Москве в такую рань чаю не допросишься, а тут сами дважды несут!/ подсказывают мне, что наверное "так надо". И я послушно пью чай два-три раза, пробуждаясь с первыми



Наш здоровый коллектив



Проводы Хворостина

птицами. Перед отъездом из Дели я поинтересовался у старшего официанта, за каким лешим нас поят чаем ни свет, ни заря. "Хукам хаэ!" — таков, мол, приказ. Чей, спрашиваю, хукам? А ваш, говорит, посольский!

И тут меня озарило! Из "Марины" постоянно отбывают советские специалисты, кто домой, кто на объект. Рейс Аэрофлота стартует в девять утра. Примерно в это же время отходит поезд в восточном направлении — на Бхилаи, Ранчи, Дургапур, Барауни, Патрату и прочие советские стройки. Памятуя, что перед дальней дорогой наш человек неизбежно назююкается, советское посольство дало приказ, будить обитателей "Марины" часа за три до отъезда.

И вот, неназойливо, по-восточному, следя за нашим братом, слуги каждый вечер принимают к постояльцам и поят их чаем до тех пор, пока те не пробуждаются.

8 ЯНВАРЯ. ТОВАРИЩ ЩУКЮРОВ

В нашу маленькую семью прибыло пополнение. Приехал товарищ Щукюров, наш новый начальник из Баку, суетливый человек с узкими плечами, широкой задницей и пронзительными глазами карманщика. С ним вместе прибыла "по культурному обмену" давно ожидаемая преподавательница русского языка для Университета Бароды Наталья Сергеевна Кириенко, щуплое пугливое существо лет 25-ти в веснушках и с плоской грудью.

Щукюров в день своего приезда потребовал лимузин, переводчика и отправился... на базар. Там он нежно перещупал дюжину живых кур, осмотрел их придирчиво жарким взором и почти каждую понюхал. При этом он громко и долго торговался, обижаясь, если я переводил его слишком кратко: "Ты, дарагой, торгуйся! Зачём нэ таргуешся? Чэму тебя учили в МГУ?"

Вечером Щукюров мобилизовал всех жен, и они под его личным руководством сварганили в честь приезда начальства роскошный обед с цыплятами табака. Потом с каждого содрали по десять рупий.

Щукюрова поместили в самую большую комнату с отдельным туалетом. Всю неделю новый начальник надоедает, требуя с моей помощью от индийской администрации различных благ — занавесок на окна, ковров, личного холодильника и тому подобного. На строительную площадку он еще съездить не удосужился.

Не менее любопытной оказалась и Наталья Сергеевна Кириенко. Ее поселили в просторном профессорском особняке, милях в четырех от "своих", одну, на территории университета. Через час Кириенко влетела в контору с красным от волнения лицом. В коттедже, оказывается, живут слуги-чаукидары. Мужского пола! Они, правда, живут в отдельной пристройке, но приходят убирать спальню! Оглядываясь по сторонам, Кириенко шепотом говорила о происках западных разведок и о репутации советского преподавателя.

Через пару дней сплетники-чаукидары рассказали мне, давась от смеха, что "рашен леди" чуть ли не каждый раз берет такси от аудитории до своего коттеджа, чтобы попасть в туалет. Студенческой уборной она панически боится. Запершись у себя, Наталья Сергеевна что-то старательно сжигает и спускает в унитаз. До чего же, однако, может довести советского человека инструкция ЦК КПСС для выезжающих в капиталистические страны!

ГИМН ОФОРМЛЕНИЮ

Когда-нибудь в будущем, когда наши потомки уже будут жить при полном коммунизме и общество будет управляться самим народом, в лице ЦК КПСС, тогда оформление станет таким же естественным делом, как сегодня в Москве стояние в очереди за чешскими ботинками. Тогда будет трудно объяснить потомкам, что в переходную эпоху от социализма к коммунизму оформление, неофициально, но всенародно, считалось малоприятным и даже постыдным явлением.

Как объяснить уважаемым потомкам, что такое оформление? Ну вот, например, захотелось вам поехать за гра-

ницу /которой в будущем, возможно, тоже не будет/, в полном соответствии с решениями очередного пленума ЦК, для развития сотрудничества и взаимопонимания. У вас имеется хорошо известная и государству, и партии квалификация для исполнения такого желания. Как ни крути, обучались вы в государственном университете /других у нас нет/, находились под наблюдением комитета государственной безопасности /другая не нуждается в комитете/, и состояли в единственно возможной партийной организации /у нас однопартийная система!/ Тем не менее, вас должны знать, как облупленного. Вы хороший переводчик, вы бегло говорите на двух языках развивающихся народов плюс на языке наших империалистических врагов. Вы сопровождали толпы иностранных делегатов, прогрессивных придурков, прибывающих на нашу Родину с одной заранее известной целью — хвалить нас и ругать свою заграницу. При этом вы замечательно зарекомендовали себя, ни разу не унизившись до выклянчивания у иностранных гостей их нейлоновых сорочек, безразмерных носков и джазовых пластинок. Вы отлично работали на целинных землях Казахстана, умножая грандиозные успехи нашего сельского хозяйства, вы изучали ПВО и автомат Калашникова, готовясь к войне, и голосовали за мир во всем мире на митингах. Вы — преданный до потрохов раб системы. Но за границу вы не поедете до тех пор, пока не соберете огромного числа бумажек, где ваша лояльность будет официально подтверждена подписями и печатями, отнюдь не гарантирующими ни вашей лояльности, ни целесообразности вашей поездки за границу. Сотни "оформленных" ежемесячно бегут в лагерь врага, а другие тысячи послушно возвращаются, ровным счетом ничего полезного не сделав ни для Родины, ни для страны пребывания. При сборе бумажек каждый будет чинить вам препятствия. **О ф о р м л е н и е** — это бег с препятствиями и игра в жмурки одновременно. Вас будут ловить на проступках и недомолвках, а вы будете доказывать, что вы хороший. В результате всего, вы, оформленный и выездной, привезете на любимую Родину два-три чемодана барахла, японский магни-

тофон и несколько сувениров, изготовленных на загнивающим Западе /и Востоке/. Часть этих "богатств" вы раздадите вашим коллегам и начальникам, включая и тех, кто ставил вам печати и подписи и всячески препятствовал вашему выезду. Это необходимо для вашего престижа и сохранения статуса **в ы е з д н о г о**, чтобы выехать еще раз.

О ф о р м л е н и е — это достижение желаемого общественного статуса и относительно более высокого благополучия путем сознательного, узаконенного и общепринятого процесса **д о к у м е н т а л и з а ц и и** лжи. Если мое определение вам не нравится, придумайте другое. Я не гонюсь за славой первооткрывателя.

9 ЯНВАРЯ. О БДИТЕЛЬНОСТИ

Сегодня волею пославшего меня парторга я пошел к Наталье Сергеевне — единственной обладательнице русской печатной машинки в Бароде, чтобы перепечатать наш квартальный отчет для начальства ГКЭС в Дели. Кириенко переполошилась, когда я появился в ее гостиной. То ли ей было неудобно передо мной за свой буржуазный образ жизни, обилие жилплощади и слуг. То ли ей было неудобно перед слугами за меня. Слуги вели себя невозмутимо, с достоинством, унаследованным от британских колонизаторов за 200 лет до нашего пришествия в Индию.

Узнав о цели моего визита, Татьяна Сергеевна наморщила лобик, скосилась куда-то в угол, откуда, возможно, ее подслушивало ЦРУ, покраснела и что-то невнятно заговорила о шрифте своей машинки, который может попасть в лапы вражеской агентуры и быть использован для фабрикации провокационных писем и документов против нас. Я с трудом ее успокоил. Но машинку на вынос она все равно не дала. Предложила перепечатать отчет в ее присутствии, у нее в кабинете. Когда я кончил, Татьяна Сергеевна забрала копировальную бумагу и пошла ее жечь в уборную.

Я принес отпечатанные документы Щукюрову, получил устную благодарность, без занесения в личное дело, и рюмку

дипломатического виски от Арсеньева. Вдохновенный, я настроил свою гитару и целый вечер тихо брэнчал в "Красном Уголке". Аудитория, правда, состояла из одной Розы. Все прочие сидели по своим комнатам и сэкономили валюту.

С Розой мне просто и приятно. Она старше меня лет на 10, но за этими натруженными красноватыми руками в цыпках и усталым лицом с картофельным носом видится мне красота иного, высшего порядка. Мне хочется верить, что Роза — порядочный человек. Я замечаю, как ей неловко за нас всех, когда мы сидим в офисе и делаем вид, что заняты.

11 ЯНВАРЯ. СУББОТА. БАБА ВЕРА

8 утра. Коллектив дрыхнет. Я поскреб в дверь Розы. "Кто там?" — "Поскребышев!" Через четверть часа мы уже тряслись в рикше-скуттере к центру Бароды — в кино. Мы просмотрели запоем американскую комедию с Джеком Леммоном, соблазняющим дюжину студенток. Потом документальный фильм о зверях Африки и на закуску — индийскую любовную драму, на которой Роза заснула. В перерывах мы ели мороженое и разглядывали на базаре пестрый ширпотреб, разложенный прямо на асфальте. Вот тут-то, после индийской драмы, мы и услышали родную речь. "Приве-ет, влюбленные!" — проскрипел сладкий старушечий голос. Мы оглянулись и увидели крепенькую курносую женщину с большой авоськой, туго набитой шерстяными и нейлоновыми кофточками, отрезами "джерси" с блестками, мотками шерсти для вязания, босоножками и прочим, только что закупленным товаром. Она явно не вписывалась в экзотику индийского базара. От косынки в горошек на голове до стоптанных туфель на микропорке, вся она, по щучьему велению, была перенесена сюда с московской толкучки.

Зовут ее Вера Прокофьевна. Она лаборант-химик, консультант при советской группе нефтеразведки и по-совместительству парторг, то бишь, ПРОФорг /если по конспирации

ЦК/. Роза ее знает, встречались раньше на общем собрании советских специалистов в Бароде. Баба Вера, как я ее окрестил про себя, узнав, что я новенький, тут же пригласила нас с Розой "на селедочку", с условием, что мы возьмем такси. Мы взяли.

Обед прошел по-партийному скромно. Мы ругали заграницу, хвалили нашу помощь ей. Подчеркивая нашу любовь к Родине, мы уплетали картошку в мундирах с керченской селедкой, заливая это лабораторным спиртом, разбавленным для "дам" манговым соком. Баба Вера умилилась, узнав, что я индолог. "Надо же, кого теперь оформляют!"

Из разговоров я понял, что в Бароду уже съехалось сотни три наших нефтянников, строителей, бурильщиков и еще каких-то "инструкторов", о которых парторгша говорила вполголоса, закатывая глаза к потолку.

Потом баба Вера показывала покупки, разложив их по койке и напоминала мне суетливую "тещу с Марьиной Рощи", что перебирала краденое, прикидывая выручку.

Когда мы ехали домой. Роза со смехом сказала: "Помесь Плюшкина с Коробочкой!" Я возразил, что не стоит судить прежде времени. У Веры Прокофьевны две дочки на выданы и внуков штук пять. Баба Вера, сказал я, нормальная русская бабушка. Картошка в мундирах. Ворованный спирт... И при этом, не стерва, несмотря на партийный пост. Это надо уметь ценить в наших условиях. "Да, пожалуй..." — сказала Роза неуверенно. Пожелав ей спокойной ночи и усевшись за дневник, я вспомнил: "Приве-ет, влюбленные!" Что это? Шутка? Ведь баба Вера едва знает Розу и совсем не знает меня.

12 ЯНВАРЯ. ПРОБЛЕМА УНИТАЗА

Уже пошла вторая неделя, как наш новый начальник собирается посетить строительную площадку, да все некогда! Дела. Вот и сегодня с утра Щукюров ворвался в контору злой, оторвал меня от бумаг и потащил к индийскому завхозу, отставному капитану флота Таябджи. Передать их

разговор словами трудно. Это надо снять на киноплёнку и показывать в Каннах. Представьте себе крайне возбужденного Щукюрова. Он мечет глазами гром и молнии, поминутно вскакивает со стула и повышает голос до крика. Напротив него в большом кожаном кресле невозмутимо восседает старый капитан Таябджи, попыхивает британской трубкой и выражает полнейшее презрение как к гостю, так и к теме разговора: протекающий унитаз в персональной уборной Щукюрова. Я стараюсь смягчать при переводе хамство Щукюрова и изысканный англо-саксонский сарказм Таябджи. Теперь попытаюсь воспроизвести по памяти диалог:

— Родина направила нас в Индию с грандиозной задачей построения социалистической индустрии, а вы не желаете починить трубу в туалете!

— За социализм вам очень признателен. А течь вам устранит любой слесарь из Бароды за десятку рупий.

— Мы не обязаны платить десять рупий! Это принципиальный вопрос! По контракту индийская сторона обязана обеспечить нам все бытовые условия!

— Хорошо. Тогда подождите нашего слесаря — бесплатно.

— Сколько же можно ждать? Уже третий день у меня плохо пахнет!

— Подождите еще дня два. У нас же государственный плановый сектор, как и у вас, при социализме. Вы должны нас понять.

— Разве нельзя срочно вызвать слесаря со стройки?

— Можно. Но первоочередность социалистической индустрии нам этого не позволяет.

— Но мы... Мы разве не первоочередность? Мы жертвуем для Индии всем: нашим комфортом! Нашим здоровьем!

— Зачем же жертвовать? Вы имеете возможность снять отдельный коттедж для каждой советской семьи. С двумя туалетами.

— Мы предпочитаем жить одной семьей. У нас сильно развит дух коллективизма.

— Ну, раз у вас так сильно развит коллективизм, отчего

бы пару дней не пользоваться коллективной уборной на втором этаже "рашен бангало"?

До Щукюрова наконец доходит, что Таябджи над ним издевается. Заявив, что он "этого так не оставит", Щукюров уходит, хлопнув дверью. Капитан Таябджи сочувственно смотрит мне вслед, дымя трубкой.

14 ЯНВАРЯ. К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР!

В нашем коллективе переполох. К нам едет из Дели советник посольства по экономическим связям товарищ Силуянов, бывший член ЦК КПСС, бывший советский посол в Польше, пониженный и сосланный в Индию укреплять братское сотрудничество. По дошедшим до нас слухам, у Силуянова язва желудка.

Мне с утра поручено заказать номер-люкс в правительственном Гест-Хаусе /что-то вроде наших закрытых партийных гостиниц/ и проверить, чтобы все было чисто. Щукюров лично отдал приказания индийцу повару, как готовить цыплят-табака и плов. Тощий повар по имени Кази, хромой и покладистый, долго записывал рецепт в книжицу, но сделал все по-своему.

Потом Щукюров примчался со мной на строительную площадку /наконец-то!/ и часа два надоедал индийским инженерам вопросами о готовности различных "титолов". Он даже потребовал письменного рапорта, но его послали к начальнику объекта генералу Сингху. Генерал скрыто злорадствовал, наблюдая волнения Щукюрова. Но потом сжалился и продиктовал своему стенографисту длинный и дутый доклад, в котором роль советских консультантов превозносилась в выражениях не хуже правдинских.

Силуянов прилетел, как ураган, темный и злой. Еще в аэропорту он выматерил Щукюрова за опоздание с квартальным отчетом. До Силуянова явно дошли слухи, что у нас с индийской стороны не совсем деловые отношения. Сыграла, очевидно, свою роль и статья в "Таймс оф Индия".

Разделавшись с Щукюровым, Силуянов взялся за меня.

Что, мол, я тут делаю? Достаточно ли загружен? Нужен ли вообще переводчик для шести проектировщиков, четверо из которых по анкетным данным владеют английским языком? Почему держат переводчика со знанием хинди в конторе, где говорят только по-английски, а не на площадке, где надо общаться с рабочими?

Силуянов не стал читать доклада, составленного генералом Сингхом, и отказался от визита на стройку. Вместо этого он вызвал к себе всех старших индийских инженеров и отчитал их, как школьников, обвинив в неумении использовать технический опыт советских консультантов, в бюрократизме, расточительстве и отсутствии рвения за общегосударственные интересы своей страны, идущей по пути социализма.

Силуянов докричался до того, что индийцы якобы укрывают в своей среде саботажников, которых надо срочно выявить и сурово покарать.

Обед начальству, как я и предвидел, не понравился. Силуянов велел вызвать повара и перевести "черножопому", как делать паровые котлеты. Затем потребовал виски, но ему объяснили, что Гуджерат сухой штат и что спиртное отпускается только с разрешения местной полиции. "Чтооо?! — заорал советник. — Полиции?! Да вы советские люди или нет?"

Я понял, что надо выручать коллектив и тихонько шепнул Кази на урду, чтобы мчался в "рашен бангало" и притащил из моей комнаты бутылку 60 градусной водки. И чтоб в ведерке со льдом и малосольными огурцами, что в нашем холодильнике на коммунальной кухне. Кази смекнул, что это надежда и на его спасение. Через пять минут Силуянов пропустил стакан холодной водки, похрустел малосольным огурчиком и маленько смягчился.

Он взглянул на меня, как Петр Первый на сына Алексея, подмигнул и неожиданно дружелюбно спросил: "Жена есть?" Я понял, что это уже кадровый вопрос. Это может означать переоформление в Дели, в аппарат ГКЭС. "Жены нет, — сказал я, — но есть невеста в Москве". — "Выпишем", —



Наш гость Силуянов



Вечерний прием

буркнул Силуянов и больше меня не замечал. Но гроза миновала. Коллектив был спасен.

18 ЯНВАРЯ. СУББОТА. СОВЕТСКИЙ ДОСУГ

С утра в "рашен бангало" скука. Все опять дружно спят. Я позвонил в университет Кириенко, хотя и не ждал от нее ничего приятного. "Приходите, — сказала она, — можете мне развесить плакаты в аудитории..." и тотчас добавила, как будто возражая кому-то: "Не плакаты, а учебные пособия!" Мне показалось, что даже на расстоянии, по телефону, я ясно вижу бег ее пугливых мыслей. Татьяне Сергеевне боязно заниматься в университете идеологической пропагандой под видом преподавания русского языка. Ей кажется, что "враги" обязательно догадаются о сущности ее миссии в бародском университете.

...Я послушно припиливаю плакаты вдоль стен аудитории, в тех местах, куда указывает Кириенко. Трое студентов-индийцев благоговейно наблюдают за нами и каждый раз, когда я разворачиваю очередной плакат, почтительно произносят по-русски, с сильным акцентом: "эта рика", "эта Маск-ва!", "эта калкхоз..."

Когда я наклеивал последний плакат, Наталья Сергеевна заволновалась. Целая гамма переживаний отобразилась на ее веснущатом лбу. Я это воспринял как раздумья о том, что теперь со мной делать и что придумать, если я вздумаю пригласить ее на чашку чая к нам или в кино. С другой стороны, я догадываюсь, что Наталью Сергеевну еще больше пугает перспектива провести остаток выходного дня в одиночестве, в огромном пустом профессорском особняке, куда вполне могут просочиться агенты иностранных разведок!

Угадав ход ее мыслей, я неспеша бросаю приманку: не желает ли она съездить за письмами к футболистам. Говорят, к ним вчера прибыла оказия из Дели. Наталья Сергеевна заглатывает приманку вместе с крючком и леской.

— Да-да! — торопливо соглашается она, оглядывая студентов, — надо бы навестить наших... "футболистов". Она рас-

терянно смотрит на меня, понимая, что я догадываюсь, что ей известно, кто такие "футболисты". Окончательно смешавшись, она бормочет, что футболистам, наверно, ужасно тоскливо вдали от Родины.

Футболисты и не думают тосковать. Когда мы подъезжаем к их особняку, на северной окраине Бароды, половина "команды" дрыхнет на затененной бамбуковыми шторами веранде. На кофейном столике — пустые бутылки из-под спирта и батарея банок из-под кока-колы. Другая половина, несмотря на полуденный зной, от которого даже мухи устремляются в тень, режется в волейбол, став в кружок на незастроенном пустыре, за особняком. Затем они гуртом прутся в душевую и там долго плещутся, в полном молчании /возможно, для конспирации/. Мы с Натальей Сергеевной терпеливо листаем старые "Огоньки".

Не обращая на нас ни малейшего внимания, футболисты одеваются, все так же молча причесываются, влезают в автобус и уезжают. Один из них, наверно, старший, поясняет, что почта у полковника Гудзенко, а он — спит, так что ждите, пока проснется...

26 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сегодня воскресенье. Весь индийский персонал на стройке отмечает День Независимости республики Индии. На торжественный митинг и поднятие флага мы, как и следовало ожидать, опоздали. Пока препирались кому, с кем и на какой машине ехать, пока будили Щукюрова и Арсеньев убеждал его, что наше присутствие на митинге не идет вразрез с инструкцией ЦК КПСС "О недопустимости участия советских граждан в политических мероприятиях в зарубежных странах" — торжественная часть митинга почти кончилась.

Во всяком случае, Сингх, когда мы появились на строительной площадке, закончил свою зажигательную речь, собравшиеся трижды прокричали "Джай Хинд!" — "Да здравствует Индия!"

Я себе представил, если бы группа индийских практикан-

тов на советском заводе опоздала на торжественное заседание по случаю годовщины Великого Октября! Да их бы сравняли с землей, отняли переходящее знамя, запретили бы вход на танцверанду без билетов, да просто не знаю, чтобы с ними сделали!

Впрочем, не исключена вероятность, что индийцам у меня на Родине просто не позволили бы опоздать. Их бы начали готовить к славному юбилею за полгода до славной даты, их бы поставили на трудовую вахту, наверняка, вовлекли бы во всенародный почин и записали бы в семинар по изучению ленинского наследия... А в день торжества их бы, сердечных, вынули из постели теплыми, загрузили бы в автобус и доставили в Дом Культуры за сорок минут до начала заседания. Главного непременно заставили бы выступить с речью, заранее написанной и утвержденной горкомом Партии. В речи этой индийский друг излил бы всю благодарность и преданность нашему народу и нашей Партии за то, что им — бывшим рабам британской империи — разрешили стать под знамя Октября и шагать с нами в ногу к светлому будущему человечества.

ТОРОПЛИВЫЙ ИЛЬИЧ

Вечером, по случаю открытия местного филиала организации ИСКО, у нас в "рашен бангало" состоялся показ фильма о Ленине. Три коробки с лентой были присланы из информационного отдела посольства СССР в Дели. Меня, как самого молодого, политически подкованного и знакомого с проекционной аппаратурой, назначили киномехаником.

На верхней веранде расставили стулья, а в коммунальной кухне накрыли стол и расставили бутылки. Явилась верхушка индийских друзей: несколько преподавателей из Бародского университета, журналисты, представитель городского муниципалитета Бароды и два инженера со стройки.

Фильм оказался винегретом из документальных лент музея В. И. Ленина и фрагментов из художественного фильма "Ленин в Октябре". Документальные ленты, естественно,

были сняты еще при жизни вождя /на скорости 16 кадров в секунду/у и движения Ильича на них выглядели несколько судорожными, поспешными. Щукюрову это не понравилось. Он отозвал меня в сторону и приказал: "Зачем у тебя Ленин спешит? Куда спешит!? Ты нам покажи Ильича в его неторопливости!"

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-СОВЕТСКИ

Сегодня, 1 февраля, мы с Щукюровым поехали в местный банк получать денежный перевод из ГКЭС, зарплату на всю нашу группу. Щукюров очень волновался. Боялся, что нас по дороге ограбят. Но никто нас и не думал грабить в Бароде. А настоящий грабёж, оказывается, совершался в Дели, нашим родным советским посольством.

В банке нас приглашают в кабинет директора, и пока клерки ищут разные бумажки, выписывают квитанции и слюнявят нам банкноты, директор ведет с нами светскую беседу, которую я перевожу через пень-колоду. Щукюров все равно не слушает, не в силах оторвать горящих глаз от пачки инвалюты. А индиец-директор, между тем, говорит, что в Бароду съехалось много русских. Да вот, говорит, на днях прибыла еще одна группа советских военных консультантов, обучать индийцев-пилотов управлению истребителями-МИГами. Ничего не поделаешь, говорит, у Индии с Пакистаном все время ссоры. Надо крепить оборону! Спасибо советским летчикам,.. Только денег они, получают уж больно мало. На руки им выдают еще меньше, чем вам, нефтяникам.

Я наострил уши. Почему, спрашиваю, меньше, и как это понять "на руки"?

— А это, — отвечает директор, — вы спросите у вашего посла. Индийское правительство выплачивает за каждого военного консультанта около десяти тысяч рупий в месяц. А на руки им выдается только по двести.

— Откуда у вас эти данные? — спрашиваю я, обалдевши от его математики.

Так ведь все ваши деньги проходят через мои руки, а о том, сколько Индия платит СССР за каждого специалиста, пишется в отчетах парламентских заседаний и публикуется в прессе...

4 ФЕВРАЛЯ. КТО РАБОТАЕТ И КТО ЕСТ?

За границей все советские люди делятся на две основные категории. Те, что копят валюту на автомобиль или квартиру, — голодают, питаются бананами, еле удерживая душу в теле. Те, что уже накопили, — едят, но тоже не слишком обильно, ибо надо сэкономить деньги на шубу жене, обувь родне, сувениры начальству и т. д.

Есть еще и третья категория, ввиду своей малочисленности не принимаемая в расчет. Это те, кто инвалитуту вообще не копят, а предпочитают питаться по-человечески.

В нашем коллективе нормально питаются Роза и я. Остальные вводят в своей организм белки, жиры и углеводы в размерах, не превышающих минимальные нормы, установленные подкомиссией ООН для голодающих районов мира.

Ленинградцы питаются вместе, скидываясь в общий котел по две рупии с носа. От удешевленного, малокалорийного, но объемного варианта русской пищи в офисе их обычно пучит и клонит ко сну, а на строительной площадке бросает в обильный пот и вызывает на солнцепеке сильное переутомление. Бакинцы устроили для себя отдельный восточный "общепит". Чем они там питаются, сказать трудно. Но в офисе, когда индийцы поят нас бесплатным чаем, бакинцы опустошают вазочки с печеньем и сливают в свои чашки остатки молока.

С благословения правительства Джавахарлала Неру по всей Индии сейчас проводится пропагандистская кампания под лозунгом "пропусти обед!" или "мис э мил". Призыв этот обращен к имущим классам, которые, по непонятной мне логике, должны каким-то образом улучшить положение бедноты, отказавшись от обеда каждый день. Правительство Неру, очевидно, сознательно пошло на этот трюк, в духе

бессмертного Ильича, который раздавал по детским садикам подарки, то есть крохи с кремлевского стола, оставшиеся от того, что было украдено у голодающей России. Наверно, и вправду Индия идет ленинским путем!

Впрочем, мы, советские люди, после почти полувека "ленинского пути" не очень-то пропустим ужин ради бедного. Ради сбережения валюты на "Волгу" — да. А ради голодного? — Вряд ли.

Я удивляюсь, как сам я, чистейший продукт советской системы, прожив двадцать три года в условиях социализма, где человек — человеку друг, товарищ и волк, все-таки сумел сохранить остатки сострадания. В первый месяц по приезде в Индию я не мог есть при виде нищеты и раздавал чуть ли не четверть зарплаты детям на улице. Наши, видя это, крутили пальцем у виска, показывая, что, мол, чокнутый.

8 ФЕВРАЛЯ. МЫ НЕ РАБЫ?

Меня командировали в Бомбей пригнать со склада 4 новых джипа для советской группы. Со мной отпустили погулять жен ленинградцев и Розу. Увязалась и баба Вера.

Что делает нормальный человек, прибыв ранним погожим утром в экзотический город Бомбей? Нормальный человек пойдет погулять по приморскому бульвару, поднимется на знаменитый "висячий сад", посидит над морем в кафе, полюбуется на Арабское море и рыбачьи шхуны.

Советский человек, минуя тропические красоты, первым делом устремляется к зданию консульства СССР на Педер Роуд, где ему предписано отметитья, согласно Инструкции ЦК КПСС для выезжающих в капстраны. Невидимым магнитом притягивает советского человека к его родимой бюрократии. Нормальному человеку загнивающего Запада такая привязанность покажется противоестественной. Для советского — это осознанная необходимость, то есть подлинная свобода. Как же отвечает Родина на эту беззаветную преданность?

...С вокзала такси привезло нас прямо к чугунным воротам

консульства, где мы долго совещались с чаукидаром, уверявшим нас, что все русские еще спят. Прорвавшись к тяжелым дубовым дверям, мы минут пятнадцать жали на кнопку звонка. Выглянула полная особа и сказала, что прием с десяти. На часах — полвосьмого.

— Мы со стройки нефtezавода в Бароде! — воскликнули мы, ожидая ответной радости. — Мы прямо с поезда... Города не знаем...

— К десяти приходите! — повторила она решительно, и мы сразу почувствовали себя на Родине.

— А нельзя ли у вас умыться, чайку попить?

— А это, — сказала она, — мы и выясним в десять часов!

— Может быть, женщины могли бы в туалет... — неуверенно проговорила наш парторг баба Вера.

— Тут напротив кафе для европейцев, — сообщила женщина, еще плотнее загораживая дубовые врата своим телом.

Я не выдержал и, деловито откашлявшись, потребовал пропустить нас в приемную, чтобы доложить о нашем приезде в посольство СССР в Дели, как нам якобы было приказано. Она заколебалась. Я намекнул, что могу, конечно, позвонить из кафе, но это было бы нарушением Инструкции. Деловые разговоры из публичных мест вести запрещено.

К одиннадцати часам все наши проблемы были разрешены. Нам дали гостевые комнаты и разрешили обедать в консульской столовой за 10 рупий в день.

Едва переведя дух, наши дамы, естественно, бросились по магазинам, а мы с Розой, как "малосемейные", сели в первый случайный автобус и отправились смотреть Бомбей.

9 ФЕВРАЛЯ. ЛЮБОВЬ ПО-СОВЕТСКИ

Холостяков и незамужних обычно оформляют за границу сроком на один год, вероятно, чтобы сохранить высокий моральный уровень советского человека. Руководство понимает, что лишенный секса более чем на год, советский человек может взбунтоваться и чего доброго нарушить подписку, данную им ЦК КПСС, запрещающую интимные связи

с иностранцами. Женатым легче: их оформляют на несколько лет, иногда с перерывом на отпуск в СССР. Установки ЦК и КГБ, однако, не всегда устраивают руководство на местах. С точки зрения начальства, выгоднее иметь хорошего специалиста как можно дольше — вне зависимости от его семейного положения. Куда выгоднее женить опытного инженера-холостяка тут же, в Индии, и оставить его на второй срок, нежели терять месяцы, пока пришлют нового. И еще не известно, кого пришлют...

Поэтому на любовь между одинокими "загранкадрами" смотрят сквозь пальцы и негласно даже поощряют, особенно, если есть намек на брак.

Мое отношение к браку по расчету меняется в зависимости от продвижения по службе. Когда все идет гладко и меня хвалят, я подумываю о том, как хорошо было бы найти симпатичную, выездную переводчицу, жениться и не спеша сделать карьеру в Индии. Когда же дела шатаются и меня подмывает убежать, брак по расчету кажется мне шагом не только аморальным, но и самоубийственным. Выездные жены могут оказаться стукачами, при которых откровенничать просто опасно. На это тоже рассчитывают "кадры" и уполномоченные КГБ на объектах. А иногда, в моменты критического к себе отношения, я решаю вообще не думать ни о женитьбе в Индии, ни о побеге, ни о загнивающем социализме, а просто — честно отработать срок, вернуться и жениться на любимой девушке Глаше.

У Глаши, правда, родственники в Польше. Она, возможно, невыездная. Это повредит карьере. Хотя на что мне карьера, если я так ненавижу систему и мечтаю о побеге? Вот тут я окончательно запутываюсь, развинченность моего сознания угнетает, но выхода из трех сосен я найти не могу.

ИСКУШЕНИЕ

Утром в столовой мы встречаем миловидную тихую девушку Люсю, секретаршу консульства. Она приглашает нас на просмотр нового советского фильма "Песни Родины", нынче

вечером, на открытой веранде на крыше консульства. После завтрака дамы, по обыкновению, устремляются за ширпотребом, а я начинаю "кадриться" к Люсе. Через несколько минут мы достигаем полного взаимопонимания. Я даю понять, что свободен /Вру, скотина! Меня дома ждет девушка Глаша/. Люся дает понять, что она незамужняя и что срок ее командировки истекает в апреле. Нам обоим нравится Индия... И мы отправляемся в бассейн для белых, куда наших братьев из развивающейся Индии не пускают.

Бассейн оборудован в лучших традициях загнивающего капитализма. Все как было при британских колонизаторах: слуги в белых ливреях и перчатках разносят на подносах напитки, ресторан и бар на веранде, в индивидуальных кабинках для раздевания чистота. Правда, кое-что изменилось с приходом советских сахибов в Индию. Люся говорит, что часы и фотоаппарат в раздевалке лучше не оставлять.

В купальнике Люся еще раз наводит меня на мысль о прелестях брака за границей. Окунувшись, она живописно располагается в шезлонге и начинает вязать что-то спицами из шерстяного мотка.

Я выпендриваюсь: ныряю, хожу на руках по кромке бассейна и вытворяю разные трюки, приводящие дипломатическую детвору в восторг. Люся с интересом наблюдает.

Наконец устало опускаюсь к ногам заграничного. На мой вопрос о цели вязания, Люся живо сообщает, что связанная вручную кофта обходится раз в десять дешевле, чем покупная. Вязание успокаивает... Вяжут в консульстве все, даже жены дипломатов с огромными окладами. "Люся положительно приятная и практичная девушка", — думаю я.

ЗАКОН МОРЯ И СОЦИАЛИЗМА

После обеда дамы требуют зрелищ, и мы на туристическом параднике отправляемся осматривать знаменитые храмы Джайнов на острове Элефанта, в сорока минутах от Ворот Индии. Не буду описывать храмы, они уже подробно описаны в научных трудах и романах.

На обратном пути мы посещаем большой аквариум на приморском бульваре. Нам показывают акулу-людоедку и маленькую рыбку подлипалу, которая плавает под брюхом у хищника и подъедает остатки растерзанных акулой жертв. Я долго зачарованно наблюдаю это "сотрудничество", недоумевая, отчего акула не пожирает подлипалу. "Закон моря", — поясняет экскурсовод индиец. "А-ааа! Это нам понятно".

Вечером на крыше консульства я сижу рядом с девушкой Люсей. Мне, по идее, должно быть хорошо: я только что приложился к бутылке дипломатического виски, раздобытого для меня Люсей. Держу ее тонкую сильную ладошку в своей руке. Но, вместо приятного опьянения я чувствую, как в моей груди разгорается пламя злости. В каждой "песне Родины" из патриотического кинофильма, чудится мне раздалое веселье подлипал, вроде меня и сидящей рядом девушки Люси.

Нет! Не женюсь я на этом очаровательном заграничнице. Не сделаю себе карьеры под брюхом нашей социалистической системы, не нарожаю поколение преданных мальчиков-подлипал, ничего этого я не сделаю! Я извиняюсь и ухожу с половины фильма, по всей вероятности озадачив, а может быть, и обидев милую Люсю, засидевшуюся в девушках за границей.

13 ФЕВРАЛЯ. ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

Как быстро расплзается советская одежда в тропиках! Мои целинные брюки-хаки и ковбойки фабрики "Красная Швейя" не продержались и двух месяцев. В нейлоне ходить я категорически отказываюсь. Это только наши, экономя полрупики на прачечной, ходят в нейлоновых сорочках под палящим солнцем. Нейлон в тропиках — это гибель. Он прилипает к телу, плотно закупоривая все поры. От нейлоновых товарищей обычно воняет потом за версту.

Индийцы знают лучше, как одеваться в Индии. Следуя их примеру, я накупил себе одежды из домотканой ткани

"кхади". Она быстро впитывает пот и отлично вентилирует тело. Но Щукюрову не нравятся мои сорочки и брюки с множеством карманов. Оглядев меня нынче недовольным взглядом, произнес с презрением: "Зачем адываешься как фашист? Зачем нэ как савэтски чэловэк?"

В Дели на Канате есть ателье мужской одежды "Рам и сын". Вот уже лет восемь мистер Рам и его сын обшивают тысячи проезжающих через Дели советских специалистов. И не просто обшивают, а преображают. Пузатые, сутулые, вислозадые товарищи выходят от "Рама и сына" принцами уэльскими, элегантными джентльменами, посланниками великой державы.

АМОРАЛКА!

На пороге общего холла меня манит пальцем Арсеньев, ведет в "Красный уголок" и, плотно прикрыв дверь, сообщает, что на меня поступил сигнал от парторга Веры Прокофьевны. Баба Вера пишет, что мы с Розой состоим в аморальной связи, катаемся на служебных джипах, пьем виски, покупаем предметы буржуазной роскоши и аморальные журналы. Кроме того, мы пропускаем семинары партучебы и политинформации.

— Должен реагировать, — говорит Арсеньев официальным тоном, но я вижу, что ему не очень ловко. — Я обязан направить это письмо в Дели...

В глазах Арсеньева я вижу борьбу между здравым смыслом и — "долгом перед Партией". Партия побеждает...

— Вот тебе и добрая русская бабушка! — говорит Роза, когда я заглядываю к ней после разговора с Арсеньевым. Глаза у Розы заплаканы. Розе тоже сделали втык, только беседовал с ней не обаятельный Арсеньев, а курощуп Щукюров.

— Ну, раз так, — говорю я Розе, — то давай, Роза, оправдаем нашу аморальную репутацию! Роза улыбается сквозь слезы и целует меня в щеку.

19 ФЕВРАЛЯ. ПРОВОДЫ БАБЫ ВЕРЫ

А на утро, как ни в чем не бывало, Арсеньев просит меня взять джип и отвезти Веру Прокофьевну на вокзал. Баба Вера едет домой — ее командировка окончилась. Из всего нашего здорового коллектива, во всей советской Бароде, не нашлось ни одного добровольца проводить парторга, кроме... оклеветанной ею Розы. По дороге мы размышляем вслух, что руководило бабой Верой, когда она отправляла свой сигнал. Мы ровным счетом ей ничего не сделали! Скука? Зависть, что мы моложе?

На вокзале Вера Прокофьевна суетится, пересчитывает чемоданы с ширпотребом и все волнуется, что у нее выйдет перевес и что-то придется оставить в Дели или отправить багажом, отдельным рейсом Аэрофлота — а там уж точно половину сопрут! Пять рупий кондуктору обеспечивают бабе Вере отдельное купе. Носильщики бережно укладывают ее добро на свободные полки. Мы сидим минуту перед дорогой. Баба Вера успокаивается, задумывается и назидает добрым старушечьим голосом: "Вы уж смотрите, молодежь!"

11 МАРТА. НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Слава о переводчике, который диктует английский перевод до того, как готов русский текст, дошла до Дели. Сегодняя утром подкатывает генеральский джип. Адьютант Сингха просит Щукюрова и меня срочно подъехать в офис. У генерала нас знакомят с телеграммой из Дели. Индийский Госкомитет по нефти получил из Москвы еще десять томов проекта. Документы пришли с опозданием и опять на русском языке. Какой кретин сидит в Москве, трудно сказать, но Госкомитет, рассудив резонно, решил использовать советского переводчика, знакомого с данной терминологией. В Бароде имеется такой переводчик: я. Госкомитет просит генерала Сингха направить меня в Дели. Соответствующий запрос отправлен в посольство СССР.

Щукюров, естественно, начинает канючить: "надо обсудить,

пока будут указания свыше". Но генерал ставит вопрос ребром: да или нет? Индия и так уже потеряла массу времени и денег из-за нашего "планового" головотяпства и волокиты. Видя такой армейский напор, Щукюров снимает с себя ответственность.

Генерал эту ответственность на себя принимает. Адьютант вручает мне уже заказанный билет и пачку командировочных денег. В 5.30 вечера, собрав свои нехитрые пожитки и чмокнув Розу в щеку, я отбываю навстречу новым приключениям.

12 МАРТА. ЛИНК-ХАУС, ИЛИ "ДОМ ЦЕПИ"

10.30 утра. Мы в Дели. На вокзале нас встречает лимузин Госкомитета. Нас везут прямо в Линк-Хаус, штаб-квартиру всего что ни на есть прогрессивного в Индии. В просторном современном здании размещаются различные департаменты индийского госсектора, организации левого и просоциалистического толка и даже редакция прогрессивного журнала "Линк", откуда и название здания. "Линк", между прочим, в дословном переводе с английского, означает "звено цепи" /не то ли самое ленинское звено, потянув за которое, можно вытянуть всю цепь?/.

Что представляет собой журнал "Линк". Я слышал о нем еще в Москве, когда в 62-м году проходил практику в Агентстве Печати Новости. От сотрудников редакции я узнал, что "Линк" получает материалы из ЦК КПСС и публикует их, как выражение общественного мнения Индии.

Нас повели на третий этаж, прямо в кабинет директора Госкомитета по нефти и газу, мистера Наяра. Мистер Наяр — высокий элегантный южанин с изысканными британскими манерами. Деловит, как американский миллионер, и прогрессивен, как сам Никита Сергеевич Хрущев. За пять минут аудиенции он решает сразу целую обойму проблем: напоминает секретарю, чтобы ускорили отправку запроса о моей командировке экономическому советнику посольства СССР тов. Силуянову. Потом распоряжается, чтобы мне заказали номер в гостинице "Марина", отвели отдельный кабинет в

Линк-Хаус, прикрепили ко мне нескольких стенографисток и обеспечили всеми необходимыми словарями и справочниками.

Оставшиеся две минуты мы пьем чай и даже успеваем поговорить о погоде. С высоты своего двухметрового роста мистер Наяр улыбается нам ослепительной улыбкой, крепко жмет руки и желает удачи.

ОПАСНОСТЬ!

Из приветливого и делового Линк-Хауса я поехал в ленивый и хамский ГКЭС — аппарат экономического советника посольства СССР в Индии. Надо было доложить о приезде Силуянову и встать на учет в "физкультурной организации" /как мы называем Комсомол для конспирации/.

Началось с того, что никто не знал, где Силуянов. Переходя из кабинета в кабинет, я наконец наткнулся на знакомого переводчика Толю Ложкина, личность неопределенную, мужа бухгалтера ГКЭС девушки Марии. Ложкин летел со мной в Индию в ноябре прошлого года. Его оформили на завод Бхилаи, но в Дели он "подсуетился", охмурил за неделю молодую бухгалтершу, женился и осел в аппарате. Вот, как надо делать карьеру! А не как я — дурак — работаю по-стахановски, перевожу, как пулемет. Стараюсь высоко нести знамя. Ложкин явно уже обжился в Дели и из худосочного шибздика превратился в чванливого аппаратчика. По-английски, правда, он говорил все так же скверно, с жутким акцентом фарцовщика.

Толя Ложкин подтвердил мои опасения о том, что донос от бабы Веры уже дошел до отдела кадров ГКЭСа, и обо мне уже создано мнение, как о человеке морально неустойчивом и политически незрелом, и что только товарищ Волков вступился за меня и предотвратил мою высылку домой. Так что дела мои плохи. А тут еще приезд в Дели без вызова Силуянова... Толя сделал печальное лицо и поглядел на потолок. Я объяснил Толе, что официальный запрос от индийского Госкомитета уже отправлен в ГКЭС.

— Так ты же, старик, советский человек! Служишь ты

Родине или индийскому Госкомитету? — мучал меня Толя.

— Толя, дарлинг, — взмолился я, — выручи, подсказки, что делать? Век не забуду!

Толя сделал непроницаемое лицо и велел подождать в приемной Силуянова. Через пятнадцать минут, показавшихся мне веком, пришел Силуянов. О, боги! Как он изменился! Всего два месяца тому назад, в Бароде, он выглядел довольно округлым и подвижным человеком. Сейчас он напоминал пациента ракового корпуса, желтый, худой, глаза набрякли, движения неуверенные, замедленные. Не дав мне вымолвить и слова, Силуянов стал на меня кричать хриплым срывающимся голосом, стуча кулаком по столу. Он высказал все, что я и ожидал: о неоплатном долге перед Родиной, о своеволии, о панибратстве с индийцами, об отрыве от здорового коллектива и, наконец, о том, что я сплю с "бабой, которая мне в матери годится!" — "В сестры" — поправил я, чем еще больше разозлил Силуянова.

Он орал минут пять непрерывно, потом внезапно умолк — ухайдокался, в упор уставился на меня, тяжело дыша, как будто вспоминая что-то. Может быть, мою роль спасителя и бутылку водки в Бароде, когда ему нездоровилось? — подумал я с надеждой.

Я выдержал покаянную паузу и смиренно заявил, что с Розой я никогда не спал, что для меня она не "баба", а добрый, отзывчивый старший друг. А в Дели я приехал с полного ведома Щукюрова...

— Ну и Щукюрова вашего взгреем! — пообещал мрачно Силуянов, но злость уже выдохлась, — Иди! — сказал он раздраженно махнув желтой рукой, — завтра будет решение о твоём возвращении в Москву!

Я вышел из здания КЭС. Тропическое солнце померкло. В нерешительности я постоял у ворот посольства, размышляя, бежать ли прямо сейчас к американцам, или сначала получить причитающуюся мне месячную зарплату. Но какая-то неведомая сила заставила меня войти в чугунные ворота и уверенным шагом двинуться в приемную секретаря парткома посольства СССР.

Я решил не бежать к американцам до тех пор, пока не докажу моей родной бюрократии, что никакой я не "аморальный", как показалось Силуянову. Зачем и кому это нужно, я не знал и сам. Совершенно несерьезное, детское желание убежать так, чтобы обо мне вспоминали хорошо, и жалели, что я убежал.

22 МАРТА. ВОСКРЕСЕНИЕ!

В парткоме помогли: меня пригласили выступить на концерте с моей старой студенческой пародией "Как говорят по-английски в разных странах". Это имитация различных акцентов с политической подкладкой. В отличие от профессиональных артистов эстрады, я, конечно, никогда не имел готовых текстов, написанных профессиональными хохмачами. Я всегда импровизировал, каждый раз по-новому, в зависимости от обстановки, новостей в мире и моего настроения. Сегодня на концерте я попросил конферансье объявить меня, как индолога, выпускника МГУ, прибывшего в Индию в качестве переводчика. Это произвело эффект.

Как все-таки запросто у нас решаются кадровые вопросы!

Вчера я был в опале, оклеветанный молвой. Сегодня я взлетел на вершину успеха. Наша советская Фортуна повернулась ко мне передом, а к лесу задом. Сразу же после концерта меня повели на небольшой выпивон "для своих". Сам батюшка посол, товарищ Иван Александрович Бенедиктов, изволил подойти ко мне, выкушать со мной чарку виски и, потрепав по плечу, удостоить благодарности: "Ну вы нас и развеселили! Что кончали? Институт Восточных? Я так и думал!" Сразу за послом подрулил ко мне Волков и попросил "заглянуть утречком". Это означало, что домой меня уже не отправят. А может быть, чем черт не шутит, оставят в Дели переводчиком!

Потом подлетела стайка молодых ласточек из посольского незамужнего фонда. Пригласили на молодежный междусобойчик.

"Доносы — доносами, а работать можно и нужно! И больше

терпения! Мы ведь догматики, как старшее поколение, — думал я, посасывая виски, — дайте нам срок и возможность, мы поднимемся по служебной лестнице и повернем внешнюю политику нашей Родины от холодной войны в сторону реального взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества! Вот только бы не споткнуться на таких мелочах, как "аморалка". Я получил урок, и постараюсь извлечь из него выводы. А правильнее всего, если меня оставят в Дели, срочно жениться, как Ложкин. А Глаша?.. Что же, Глаша? Свет что ли на мне клином сошелся? Переживет!"

И с этим я допил виски и решительно двинулся к толпе ласточек.

Утром в кабинете Волкова мне показали одновременно два документа: донос Веры Прокофьевны и официальное письмо директора Госкомитета по нефти и газу мистера Наяра. Хитрый индеец расписал меня в таких хвалебных тонах, подпустил столько "хинди-русси бхай-бхай!", что наказывать меня после этого было бы равносильно подрыву советско-индийских отношений. Наяр, в частности, отметил, что "десять томов сложнейшей технической документации, срочно необходимой стройкам госсектора Индии, были блестяще переведены советским переводчиком Ю. А. Безменовым в рекордный срок — восемь дней!" В конце письма Наяр от имени правительства Индии и чуть ли не от всего прогрессивного развивающегося человечества выразил благодарность посольству СССР и, особенно, аппарату экономического советника за мудрое решение направить опытного переводчика из Бароды в Дели на выполнение государственно важной работы... Короче, мистер Наяр меня спасал! Но не так-то просто польстить нашему мудрому руководству. Мало что, индийцы довольны! Подумаешь, перевел более тысячи страниц за неделю! Спас престиж Родины, ну и что? Вот, поступил "сигнал" — это важно! Любому придурку понятно, что "сигнал" — чудовищная выдумка. Но — он подшит к делу! И он перевешивает все то добро, которое я совершил для Родины и братской Индии. Волков все это понимает.

— Вот что, — говорит он решительно, — завтра открытое партсоборание представителей всех объектов ГКЭС. Советую поприсутствовать. Это, — он ткнул пальцем в письмо Наяра, — будет зачитано на парткоме до собрания. А это — скосился он на донос — пока полежит у меня.

Затем товарищ Волков выдал мне новое направление на строительство нефтезавода в Бзрауни, штат Бихар, в качестве... персонального переводчика при главе группы тов. Н. Хворостине! "Отсидитесь там, исправитесь, переведем в Дели, — обещает Волков, — будете продолжать своевольничать, отошлем домой!" — "Ой, да что вы! Я разве что!? Я непременно оправдаю доверие!.." Не чуя под собой ног от радости, я выхожу из темного здания родного польства в залитую солнцем Индию. Такси везет меня по проспекту Мира /"Шанти-марг"/ мимо посольства США. Ничего, думаю я, убежать всегда успею. Сделаю-ка я сначала карьеру!

ВКУС БЕРЕЗОВОГО СОКА

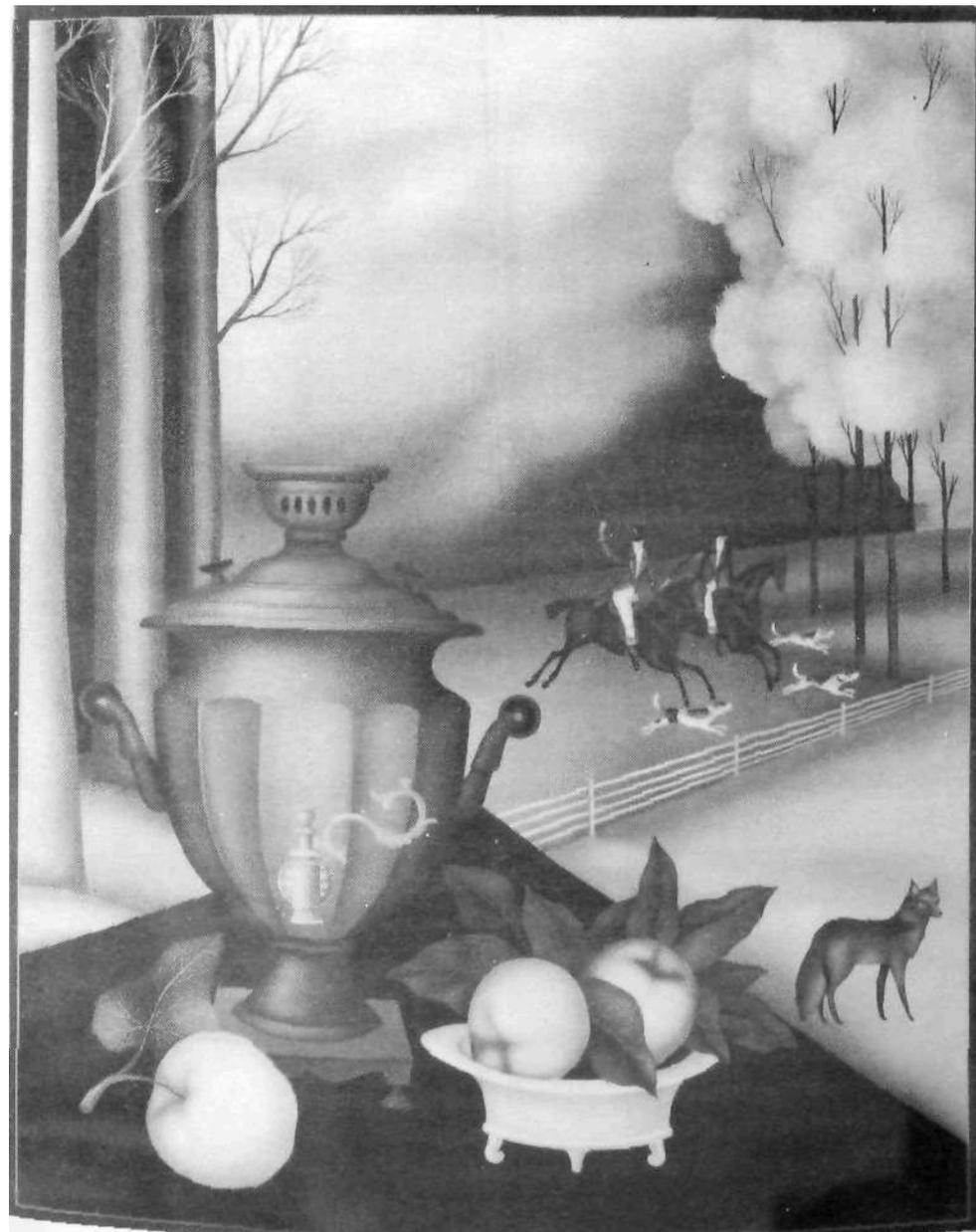
Игорь Галанин родился в 1937 году в Москве. К двадцати пяти годам он оформлял декорации для театра и иллюстрировал книги, а в 1972 году приехал в США.

Галанин живет в двухэтажном доме, недалеко от Нью-Йорка и единственный "след богемы" в этом доме, как я успел заметить, — это сломанный водопроводный кран. Любимый художник Галанина — Анри Руссо. "Когда Руссо встретил Пикассо, — замечает Галанин, — Руссо сказал: мы оба художники, только я современный художник, а вы традиционалист, в наши дни эти слова звучат иронически, а ведь Руссо был прав. Талант, — продолжает Галанин, — это радость и там, где появляется хоть крупинка таланта, ее обступают искушения. Искушения сильны и в России и на Западе. И я не знаю, где они сильнее. Чтобы преодолеть искушения, надо опираться на круг равных для вдохновения и критики".

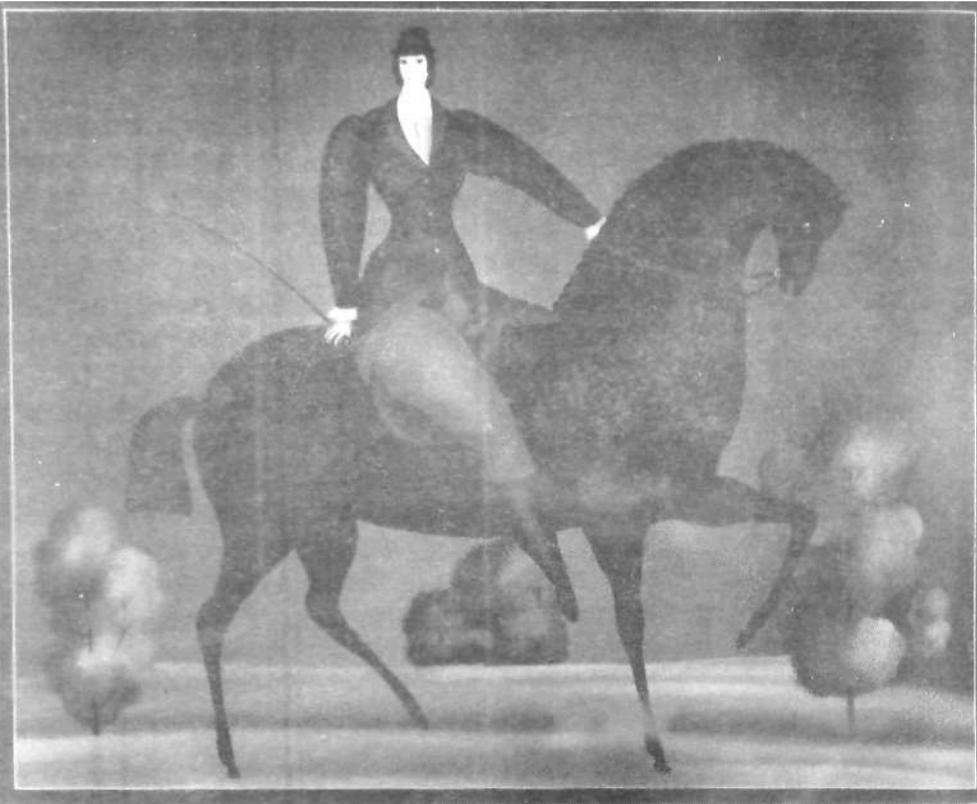
Я спросил Галанина, а преодолел ли он искушения? Он пожимает плечами: "Откуда я знаю! Я органическая часть этой жизни, как насекомое в лесу, которому объяснили кругооборот воды в природе. Я только знаю, что сверху на меня льется вода, — Галанин поднимается и расхаживает по комнате среди своих картин, — и как насекомое в лесу, я доволен тем, что есть..."

Я заметил, что в картинах Галанина все пришло либо из кухни либо из 19-го века — ножи, лужайки, дыни, часы, лебеди... "Как я счастлив, — говорит художник, — мне платят за то, что доставляет мне наслаждение. В России я только знал, что у меня маленький рост, беспокойные манеры и семья, которую надо кормить. В этой стране я знаю, кто я такой. Наслаждение в живописи — это не то наслаждение, которое мы испытываем, когда едим шоколад, в России детьми мы пили березовый сок. У этого сока, по существу, нет вкуса — это, как растаявший снег. Взрослый не может почувствовать, как вкусен березовый сок. Между тем, он приносит самое чистое наслаждение, потому что оно все в воображении. Вот это и есть наслаждение в живописи..."

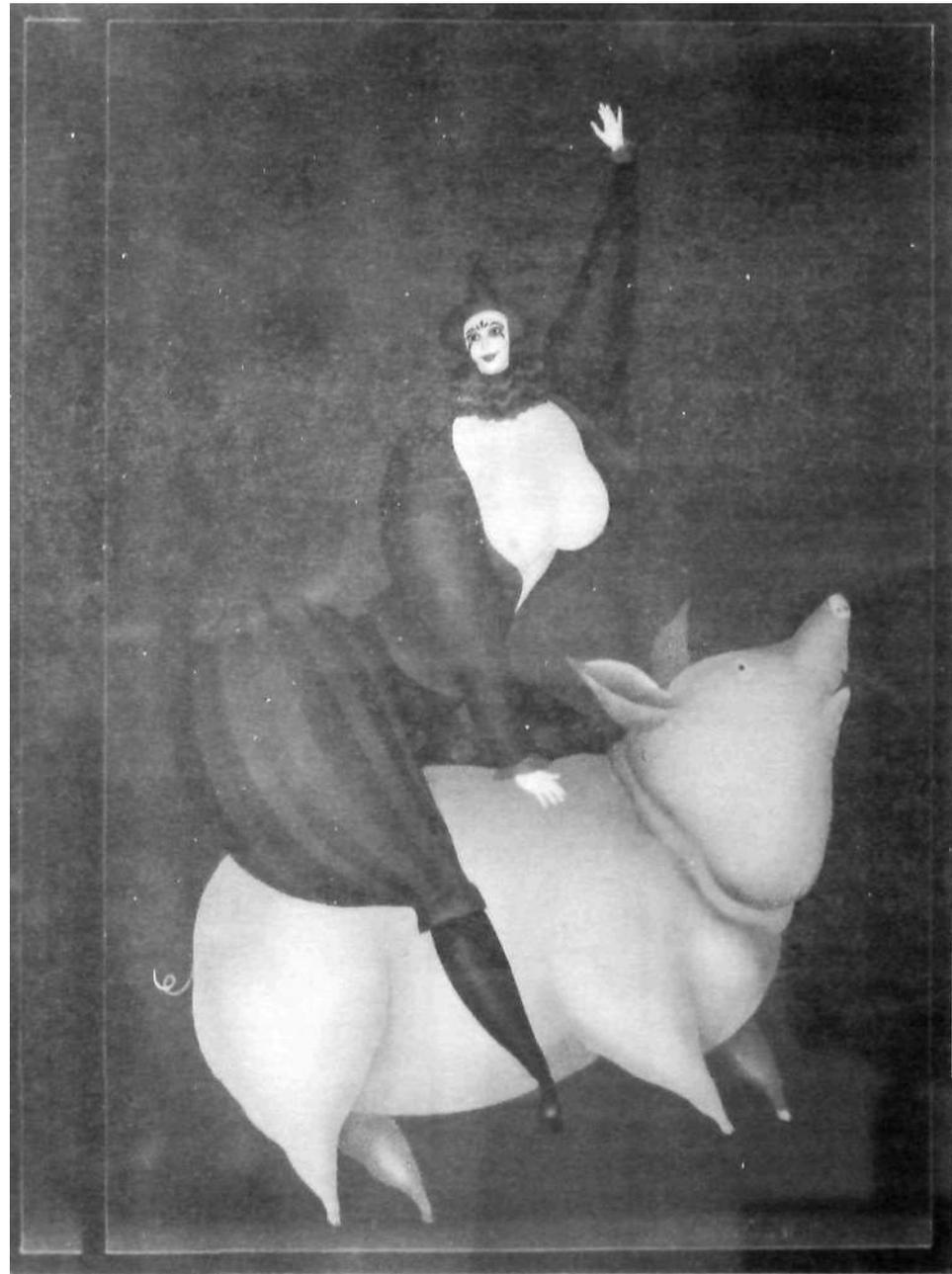
*Ричард БРОКХАЙЗЕР
/ "Йейль литерари мэгэзин" /*



Натюрморт с самоваром



Всадница



Триумф

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Борис Хазанов /Геннадий Моисеевич Файбусович/. Родился в Ленинграде, в 1928 года. Изучал античную филологию в Московском Университете. На последнем курсе был арестован и приговорен в восьми годам лишения свободы по обвинению в антисоветской пропаганде. Вышел из лагеря в 1955 году. Получил медицинское образование и работал врачом в Калининской области и Москве. Занимался литературной работой, переводил с древних и новых языков. В журнале "Время и мы" были опубликованы повесть "Час короля", рассказы "Страх", "Частная и общественная жизнь начальника станции" и ряд других, за что автор подвергся преследованию со стороны Московской прокуратуры и КГБ. В 1980 году во время повторного обыска у Бориса Хазанова был отобран весь его архив, в том числе рукопись законченного романа. В настоящее время живет в Москве.

Милан КУНДЕРА. Родился в Брно, в Чехословакии. После второй мировой войны вступил в коммунистическую партию и в 1948 году, будучи студентом, исключен из нее. После Университете, перед тем как прийти в литературу, он сменил несколько профессий: был простым рабочим, музыкантом в джазе. Позже стал профессором Пражского института кинематографии. После вторжения Советского Союза в Чехословакию, был уволен с работы, эмигрировал из Чехословакии и в 1975 году поселился во Франции. Произведения Милана Кундеры переведены на двадцать иностранных языков.

Семен ГЛУЗМАН. См. вступительные статьи Виктора Некрасова и Ефима Эткинда.

Лев НАВРОЗОВ. /См. журнал № 49/.

АМРАМ /Леонид Наткович/. Родился в Москве в 1946 году. Окончил инженерно-экономический факультет института мясной и молочной промышленности и работал экономистом в проектно институте "Гипромясо". В Израиль выехал в 1973 году. Автор многих статей, памфлетов и фельетонов, опубликованных в израильской прессе на русском языке. Живет в городе Нацерет-иллит, работает оператором на химическом заводе в Хайфе.

Наталья ГРОСС /См. журнал № 55/.

Томас ШУМАН /Юрий Безменов/. Биографические данные приводятся в "Записках неокolonизатора". В 1970 году Томас Шуман, работая сотрудником отдела информации советского посольства в Индии, попросил политическое убежище. В настоящее время живет в Канаде.



Мальчик в кресле



О ФАИНЕ БААЗОВОЙ

Фаина Баазова умерла уже после того, как вышли два предшествующих номера, и я испытываю некое чувство трагической нелепости оттого, что пишу о ней спустя полгода после ее смерти. И оттого, что пишу о ней в Нью-Йорке, где теперь живу я, а не в Тель-Авиве, где было вместе столько прожито и переговорено. И оттого, что не провозжал ее в числе ближайших друзей по столько раз исхоженному Хулонскому кладбищу.

Я познакомился в Фаиной Баазовой в первый день ее приезда в Израиль, в те минуты, когда она высокая, мужественная, гордая своим разрывом с прошлым, вошла в хорошо знакомый многим из нас "Дом Бродецкого". Это было, по-моему, в феврале 1973 года. Как всегда, невозможно вспомнить первых фраз /лишь в плохих романах они врезаются на всю жизнь/, но только помню, что в те дни она почти не выходила из номера, а все писала, будто опасалась расплескать нечто очень сокровенное, что вывезла с собой из России. Теперь, когда ее нет, я хотел бы отметить с гордостью, что был я первым читателем "Прокаженных" Фаины Баазовой и первым их редактором перед тем, как появились в нашем журнале главы из будущей книги. Об этой книге и по сей день не сказано и малой толики того, что она заслуживает, как не сказано об особом таланте ее автора, который вот так, просто, обыденными словами и не определишь: что в этом таланте главное — то, как жила Фаина Баазова, или то, с каким бескомпромиссным мужеством она об этом рассказала. А может быть, и то и другое, ибо только человек, прошедший через столько страданий, мог написать такую книгу, какую написала она.

Более пяти лет связывали Фаину Баазову как члена редколлегии с нашим журналом, и те же пять лет, и может быть даже больше, связывали нас отношениями особой дружбы, которую не измерить ни частотой встреч, ни веселым застольем, никакими взаимными излияниями.

В последние годы она много болела, и всякий раз, когда выдавалось хоть немного времени, мы с женой ехали к ней в Хулон, на улицу Ароновича, поднимались на третий этаж, звонили, дверь обычно открывала сестра Полина, радостно восклицая: "Фаня! Виктор с Аллой приехали, входите же, входите..." И тотчас появлялась она, чуть прихрамывая, с палочкой, сильно сдавшая за последние годы, но все такая же красивая своей особой баазовской красотой и такая же сильная, полная обаяния, и еще, как мне казалось, предвкушавшая, как и я, удовольствие от ожидавшего нас вечера.

На столе появлялись приготовленные Полиной хачапури и изумительное — точь-в-точь грузинское "Цинандали" — вино и еще масса бесподобных вещей — в этой семье, состоящей из двух одиноких, нуждающихся женщин, царил подлинно грузинское гостеприимство.

Здесь, на улице Ароновича, 47, зарождались многие идеи и темы журнала, здесь мы обсуждали то, что позже вылилось в широко известные баазовские эссе "Дело Рокотова", "Кровавая ночь в Тбилиси", в главы из второй части "Прокаженных".

Последние годы Баазовой не были легкими — не мне и не здесь, вероятно, судить, что происходило в ее душе, способной тяжело страдать от любого несоответствия жизни выстрадавшим идеалам. "Виктор, дорогой, вы мне можете объяснить, что же, в конце концов, происходит?" Вокруг нее происходило то же, что и везде, в нашем жестоком и бесчеловечном мире, но только она-то подходила к этому миру со своими высшими праведными мерками.

...Вот приходит из Израиля письмо: умерла Фаина Баазова, в маленьком Хулоне, на улице Ароновича. А внизу мощно грохочет Бродвей, навязывая мысль о бренности человеческой жизни. Передо мной прежде времени вышедший 59 номер журнала. Номер помечен мартом-апрелем 1981 года, а среди членов редколлегии все еще числится Фаина Баазова — то ли по трагической нелепости, то ли как некий символ ее присутствия среди нас.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1981 год

Планы журнала и условия подписки

Во второй половине 1981 года редакция намеревается опубликовать ряд лучших произведений самиздата и писателей всех трех эмиграций. Мы печатаем продолжение путевых дневников Виктора Некрасова "Из дальних странствий возвратясь", прозу Александра Тучкова, рассказы Александра и Льва Шаргородских, отрывки из книги Льва Наврозова о газете "Нью-Йорк Таймс", эссе Соломона Цирюльниковца "Израиль — год 2000-й", статьи Ильи Левкова "Советские евреи в Берлине" и Доры Штурман "Правда и ложь в современном мире" /Тоталитаризм против Западной демократии/ и др.

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки — 39 долларов, с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высыпать по адресу главной редакции: "Time and We", 594 Chestnut Ridge, Road Orange, Conn. 06477. USA

Стоимость подписки в Израиле — 320 шкалим, с целью экономической поддержки журнала — 350 шкалим. Заказы и чеки высыпать на адрес израильского отделения журнала "Время и мы": Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Стоимость подписки во Франции — 200 Ф. Фр., с целью экономической поддержки журнала — 220 Ф. Фр. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также во французском отделении журнала "Время и мы".

Стоимость подписки в Германии — 89 нем. марок, с целью экономической поддержки журнала — 110 нем. марок. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также у представителя журнала в Германии.

Во всех других странах подписка осуществляется по адресу главной редакции, а также у представителей редакции.

Стоимость подписки авиапочтой в США — 78 долл., во Франции — 400 Фр., в Германии — 178 нем. марок.

"ВРЕМЯ И МЫ" — 1981 ГОД

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес.

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We" 594 Chestnut Ridge, Road Orange, Conn. 06477. USA

Оплата через представителей журнала осуществляется в соответствующей иностранной валюте.

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по их поводу редакция в переписку не вступает.

**Главная редакция журнала "Время и мы":
594 Chestnut Ridge, Road Orange, Conn. 06477. USA**

**PRINTED BY NATIONAL WEB PRESS 2800 South Main
St. Santa Ana, Ca**

Художник Юрий Красный

Художественный и технический редактор Виктор Добров

OCR и вычитка — Давид Титиевский, ноябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**Фото Льва Наврозова на первой странице обложки и на странице 150
журнала сделано Львом Поляковым ©**

На четвертой странице обложки: Игорь Галанин "Женщина"

